

S P2  
H-202

С. Фришман

«РОЖДЕНИЕ МАЛ-ХАДАРИ»







1913



Сектор  
Библиотечного  
делопроизводства  
- 172 -

S P2  
И-202

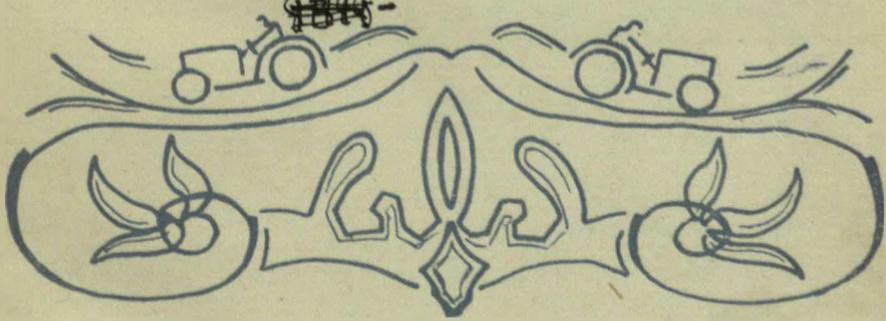


Е. ЮИЛИПЫЧ

Иванов, Е. Ф.

# РОЖДЕНИЕ МАЛ-ХАДАРИ

402  
ЗАП. СИБ. К. 1949  
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
10194 + 194465 В



НОВОСИБИРСК—1935

NGONB.RU  
  
58221863017091

Переплет, супер-обложка, иллюстрации в тексте и конструкция книги работы худ.  
В. П Р О Ж О Г И Н А

В книге помещены рисунки хакасского художника-самоучки  
Г. А Т К Н И Н А

*Книга Е. Филиппыча в живой очерковой форме даёт яркое представление о прошлой и настоящей Хакассии. Книга показывает рождение нового социалистического человека в Хакассии, показывает процессы классовой борьбы в стране, процессы преодоления молодой Хакассией, под руководством коммунистической партии, старых, отживших экономических и общественных отношений и создания на их месте социалистической экономики, социалистической по существу, национальной по форме культуры.*

*Книга представляет значительный интерес для широкого круга читателей.*



## Предисловие

*„Национальный вопрос есть часть общего вопроса о пролетарской революции, часть вопроса о диктатуре пролетариата“ (И. Сталин — „Об основах ленинизма“).*

Хакассия... Хакассы... Буржуазные ученые, хотя и не все, знали, конечно, что такая страна и такой народ существуют. Но для них Хакассия была главным образом археологическим объектом, который изучался, как остаток прошлого, занимательный, но несущественный для дальнейшего развития человечества.

Из буржуазных политиков, политиков царской России, о существовании Хакассии и хакассов знали те, кому это полагалось знать «по должности». Рассматривались эти «татары» лишь с двух точек зрения: во-первых — что с них можно взять, во-вторых — чтобы они не бунтовали. Средствами управления этим народом, как и десятками других, населявших необъятную империю, были: полицейский кнут и сомнительного вкуса и качества поповский «пряник» в виде проблематичного царствия небесного.

В условиях царского и буржуазного господства судьба хакассов, как и всех остальных народностей, заключенных в великую «тюрьму народов», сводилась к вымиранию

под гнетом чиновников, русских капиталистов и «собственных» баев-кулаков.

Со дня утверждения пролетарской диктатуры прошло всего 17 лет, в Сибири же по существу только 15 лет. За эти годы во всей стране произошли колоссальные сдвиги. Страна и Сибирь, в частности, неузнаваемы. Но те изменения, которые произошли в таких областях, как Хакассия, даже на фоне общего нашего громадного роста, исключительно велики, исключительно показательны для творческой мощи социалистического государства, строящегося на основе теории Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Изменения эти, колоссальный рост так недавно еще погибавшего народа для поверхностного наблюдателя нашего строительства не особенно заметны. Домны Кузнецкстроя заслоняют собой для такого наблюдателя социалистическое перерождение отсталых, стоявших почти за гранью культурного существования народностей. А между тем именно здесь, в Хакассии, Ойротии, Шории, наиболее ярко и мощно проявляется великая преобразующая сила социалистического строительства. Не случайно французский писатель Андрэ Мальро обратил особое внимание на новую Ойротию. Заводы, пусть не такие грандиозные, как Кузнецкий, он видел и в буржуазных странах. Но таких фактов, когда возрождается и бурно растет экономически и культурно так еще недавно забитая и вымиравшая народность — таких фактов ни во Франции, ни в любой другой буржуазной стране Мальро не видел и не увидит до тех пор, пока там не произойдет пролетарская революция. «Ленинизм доказал, а империалистическая война и революция в России подтвердили, что национальный вопрос может быть разрешен лишь в связи и на почве пролетарской революции, что путь победы революции на Западе проходит через революционный союз с освободительным движением ко-

лоний и зависимых стран против империализма» (И. Сталин «Об основах ленинизма»).

Этот тезис ленинизма целиком доказан фактами из жизни нынешней Хакассии. Кочевой народ, живший в условиях национального полуфеодального угнетения, соединенного с угнетением со стороны наиболее оголтелых хищников российского капитализма, твердой ногой встал на путь коллективизации и индустриализации. Вчерашний кочевник сегодня держит в руках руль трактора, отбойный молоток. Батрак, вчера трепетавший перед каждой чиновницей «светлой пуговицей», нынче работает в руководящих областных и районных организациях. Народ, не имевший никакой грамоты, сейчас эту грамоту имеет. Из широких масс, вчера еще далеких от примитивной человеческой культуры, вырастают поэты, художники, хозяйственные руководители. Вместе с «Мал-Хадари» — колхозом, рождается и новый человек — колхозник.

Так изменяется лицо Хакассии. Так осуществляется ленинский лозунг о создании культуры, национальной по форме, социалистической по содержанию.

Все это, конечно, не значит, что задача поднятия уровня хакасского народа до уровня наиболее культурных пролетарских слоев страны уже разрешена. Колоссальная многовековая отсталость тяжелым грузом лежит на плечах трудящегося хакасса и сбросить ее не так легко. Сделаны гигантские, но все же первые шаги... Решающий сдвиг произошел, но задача еще полностью не разрешена.

По вопросу о наших задачах по отношению к ранее угнетенным народам Востока т. Сталин говорит: «Основная задача состоит в том, чтобы облегчить дело приобщения рабочих и крестьян этих республик к строительству социализма в нашей стране, создать и развить предпосылки, применительно к особым условиям существования этих рес-

публик, могущие двинуть вперед и ускорить это приобщение» (И. Сталин «Об основах ленинизма»). Индустриализация СССР, создание мощного социалистического сельского хозяйства — основные факторы для создания условий социалистического роста Хакассии, Ойротии и т. д. Но этого мало. Тов. Сталин подчеркивает необходимость создания предпосылок развития «применительно к особым условиям существования этих республик». Без знания же этих особых условий невозможно и строить работу применительно к ним. Механически переносить методы организационной и культурной работы, скажем, из передового колхоза Московской области в «Мал-Хадари», из шахты Донбасса в Черногорку значило бы не понимать сущности лозунга о создании национальной по форме, социалистической по содержанию культуры. Надо знать хакасса, ойрота, шорца, его историю, особенности быта, трудовые и общественные навыки, и тогда лишь дело социалистической переделки этих народностей можно смело и уверенно двигать вперед.

Хакассия расположена от нас очень недалеко, однако знаем мы о ней чрезвычайно мало. Литература о Хакассии и хакассах чрезвычайно незначительна — всего 2-3 книги и небольшое количество журнальных статей. Настоящая книга очерков Е. Филиппыча — по существу первая попытка дать некоторое представление о Хакассии, об ее сегодняшнем состоянии, о пути, который соединяет ее «сегодня» и «вчера». Как книга очерков, «Рождение Мал-Хадари» неизбежно фрагментарна (отрывочна). Она не ставит себе задачу сказать о Хакассии «все». Такая задача была бы неразрешима. Очерки Е. Филиппыча, при их внешней фрагментарности, связаны между собой единством содержания, отраженным в названии книги —

«Рождение Мал-Хадари», рождение новых форм жизни.

Эти новые формы рождаются в огне жесточайшей классовой борьбы, особенно сложной и утонченной в условиях Хакассии. Новым формам приходится преодолевать не только бешеное сопротивление классового врага, но вековую косность в сознании самих батраков, бедняков и середняков, разрушать фетиш «одной кости» с баем. Внедрению новых форм мешают и проявления великодержавного шовинизма. Эти проявления выражаются порой в таких внешне «невинных» формах, как «ученые» рассуждения о «неприспособленности» хакассов к индустриальному труду. Преодолевать приходится и недоверие хакассов к русским, недоверие понятное, т. к. «русские», правда, другие «русские» (но ведь это не так просто понять) обычно несли с собой гнет и разорение. Много препятствий стоит на пути к новой жизни, ломающей старые формы жизни — пусть тяжелые и безрадостные, но все же такие привычные. О всех этих препятствиях, о героической борьбе с ними новой, социалистической Хакассии книга Е. Филиппыча говорит много интересного и незнакомого всем нам, так близко и все же так далеко живущим от Хакассии.

Надо думать, что книгу эту прочтут с интересом все те, кто интересуется громадной работой партии и советской власти в деле разрешения одной из важнейших задач пролетарской революции — в деле осуществления ленинско-сталинской большевистской политики по национальному вопросу. А интересоваться этим должен каждый трудящийся Советского Союза.

Из. Гольдберг.

1870

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ГЛАВА ЗАМЕНЯЮЩАЯ  
ВСТУПЛЕНИЕ







## СТУДЕНТ ВЫНОСИТ ПРИГОВОР

Третий день поднимался «Сокол» вверх по реке. Третий день навстречу пароходу молчаливым караулом выстраивались скалы. Часами маячили они над светлой чешуей Енисея, пока не расплывались в пепельных таежных далях. Два-три раза в день проглядывали в лозняках беззвучные деревни.

Становилось скучно.

Внизу плацкартные пассажиры жевали пироги и лили чай. Безместные потели у горячих топок. Группами. Старожилы — хозяйственно обложившись грудой мешков и мешечков; новоселы — сгребая в кучу кошели, туески и ребят.

На корме устало жались друг к другу лапотники — ходоки.

Жесткие борозды, расщепленные по их лицам вре-

менем и бесхлебной мужицкой судьбой, так и не отмылись от пыли захудалых фязанских черноземов.

— И скажи ты, откудава берется такая прорва камня? Камень и лес... Камень и лес... Где она тут, земля?

— За Минусу подаваться надо, ходоки. В сойотскую сторону. Там благодать.

— Под Китай, значит... В самую заграницу.

— Там, сказывают, угодной земли — сколько душа гребует.

Жарко.

Верхние пассажиры тоже начинали изнывать. Вечерами собирались в рубку. Студент-технолог нехотя сажился за пианино и наигрывал странные, одному ему понятные мелодии. Он порывисто покачивался в такт своей игре, и также порывисто взблескивали на темном лаке инструмента его золоченые наплечники.

За столом двое задумчивых людей из тихого племени музеев перелистывали книги.

Торговый человек из Красноярска и доверенный всесибирского купчины Тонконогова забились в угол, гребовали за графином графин и все заметнее менялись характерами. Доверенный, с утра носившийся по пароходу и без всякой меры рассыпавший сладкий горшок извинений и пословиц, к вечеру мрачнел и наливался тупым молчанием. Торговый человек, наоборот, начинал выдавливать из себя афоризмы.

— Сыграли бы вы, господин студент, что-нибудь такое... Чтобы голос души слышен был... Голос без души — все равно, что балык без водки... Питает, но не живет.

Технолог совсем оборвал музыку и подсел к музейнам. Это значило, что сейчас опять завяжется ожесточенная пикировка.

Начал, как и вчера, студент:

— Поймите, господа, что благоговение — это, в конце концов, только слабость. Ну, народники — те, куда еще ни шло, хоть и ползали на коленях, так, по крайней мере, перед русским мужиком, перед целым народом. Глупо, конечно... Но все-таки понятно. А вы? Вы готовы всю свою сознательную жизнь протрчать на коленях перед каким-то вымирающим минусинским татаринном. По татарину, простите за выра-

жение, вошь ползет, так вы и ей готовы в ножки поклониться. Это ж не простая вошь, а вошь, предки которой кусали великого Чингис-чана...

— Бросьте ерунду говорить, Михаил Степанович.

— Простите, но это, к сожалению, не ерунда. Я до сих пор не могу от вас добиться членораздельного ответа на вопрос: как вы себе рисуете будущее этого самого почтенного народа?

Музейнин пожал плечами:

— Нелепый вопрос. Я уже вам говорил: это зависит не от нас. На это существует русское правительство. А его пути, как и пути господни, неисповедимы. Для нас ясно одно: народ нужно сохранить со всеми его прекрасными особенностями и творческими возможностями.

— Как музейную редкость? В банке со спиртом?

— Именно не как музейную редкость, а как живую творческую силу. Не забудьте, что этот народ, который, кстати сказать, совершенно неправильно зовут татарами и который, по существу, является народом безымянным, в свое время создал громадную культуру.

— Хороша культура, от которой даже следов не осталось.

— Следы-то, положим, остались... Но кроме следов — действительно ничего.

— И прекрасно, Александр Рудольфович!

Александр Рудольфович даже растерялся. Студент продолжал наступать:

— Да, да. И прекрасно. Какую культуру вы, собственно говоря, вздумали оплакивать? Пусть наша русская культура и не очень высока, но она — все-таки культура. А возьмите вы язык, великолепный язык Пушкина, Тургенева, Гоголя... Подумаешь, как будет жаль, если этот язык вытеснит хриплое татарское бормотанье, на котором можно только выругать своих семейных да сказать пару слов о корове или овце. Попробуйте на их языке об'ясниться в любви! Да и могут ли они любить? Есть ли у них какие-нибудь человеческие чувства? Пьянство, разврат, воровство, трахома, сифилис...

— Бросьте, клеветать, Михаил Степанович. Не преувеличивайте... А, во-вторых, кто занес сюда сифилис?

Кто занес, я вас спрашиваю? Не ваша ли хваленая русская культура?

— Вы тоже, дорогой Александр Рудольфович, склонны преувеличивать. Почему же русский народ растет и крепнет, а инородцы вырождаются? Человек человеку — волк. Выживает на земном шаре только сильный. А слабым — туда и дорога!

Деликатный музейник не выдержал и ответил резкостью:

— Волчья философия. Вы рассуждаете, как самодовольный буржуа.

Студент отвечал попрежнему спокойно:

— Во-первых, мое происхождение тут не при чем. А, во-вторых, моя философия — единственно разумная сейчас философия. Сибирские инородцы, в том числе и любезные вашему сердцу минусинские татары, отжили свой век. Взгляните на вещи хоть раз в жизни с государственной точки зрения. Что значит для России какие-то там сорок-пятьдесят тысяч дикарей, которые не знают даже чувства благодарности? А между тем, они занимают богатейшие земли. Не занимают, а губят. Погодите, придет в эти степи однажды какой-нибудь Семен Семеныч...

Студент покосился на доверенного. Но тот не слушал, и студент продолжал:

— Изворотливый, толковый Семен Семеныч. За ним следом явится его хозяин Тонконогов. Тонконогов построит в степи свои фабрики, рабочие поселки. Тонконогов выжмет из степей все, что оттуда можно выжать и использовать. И тогда придет культура! Ваш татарин пойдет на завод или сядет как следует на землю. Он должен будет приспособиться! А если не приспособится — чорт с ним! Мир от этого ничего не потеряет. Если наша техника раздавит все эти ковыли, юрты и вместе с ними все сорок тысяч дикарей, плакать об них будет некому, кроме разве вас, музейных ископаемых!

Технолог резко повернулся к молчаливой спутнице музейника:

— Вот почему, уважаемая Ольга Андреевна, я и разлюбил, так называемую, русскую интеллигенцию. Она тоже, как инородцы, начинает вырождаться.

— Или приспособливаться! — уколола та,

— Или приспособливаться. Ничего плохого в этом нет. Лучше приспособиться и жить, чем прозябать и питаться прошлым, как плесень питается сгнившим деревом. Нет больше русской интеллигенции! Остались плакальщики. Остались зауряд-прапорщики мировой скорби. Посмотрите направо — вот ваш настоящий преемник...

И студент еще раз резко повернулся на стуле. Теперь уже к торговому человеку:

— Послушайте, Иван Кузьмич. Что вы сейчас намерены делать в Минусинском уезде?

Купец дожеввал бутерброд с икрой и чуть повел оловянным глазом:

— Я... По закупу больше. Чего мне кроме там делать?

— А много вы могли бы там сделать?

— С деньгами, молодой человек, все можно сделать... С деньгами и с умом. От ума и деньги водятся, особенно в сибирской местности. Вот я сейчас кетовую икорку кушал и вспоминал. Лет пятнадцать, однако, назад... в Благовещенске дело было. Ловили там кету. А икру в прязь вываливали. И навалили прямо сумасшедшее число. Вонь круг города... Пришлось из подряда сдавать, чтобы вывез кто и закопал поглубже. Один мой приятель и взялся по сходной цене. Месяца два вывозил. Только не на отвал, а в Москву. Большие тысячи нажил мужик. И за вывозку — ему, и за икру — ему. С умом был...

Михаил Степанович помолчал, и вдруг продекламировал на-память: «Сибирь хотя студеная страна, но воздух там чистый и здоровый, и люди могли бы жить до глубокой старости, если бы не прекращали жизнь своим безмерным пьянством».

— Кто это писал? — спросил купец.

— А вам не все равно? Немец один...

— Вот и видать, что немец. Наш такого не напишет. Если рассудить, в Сибири без водки не жизнь. И поит и кормит, матушка...

— Ой, даже и кормит? — усомнилась музейянка.

Студент заступился за купца. И было непонятно — издевается он или говорит серьезно:

— Факт! Когда он сам пьет, она его, конечно, поит.

А когда он других спаивает, — она его кормит... И не плохо кормит.

Разговор как-то сразу затих. Студент вернулся к пианино. Александр Рудольфович поднялся из-за стола. И тут только заметил своего маленького молчаливого друга, прижавшегося в углу. У того горели глаза и уши.

— Ты что тут делал, Эпчелей? Слушал? Идем-ка лучше на палубу...

Захлопывая дверь, музейнин успокоительно брюзжал:

— Не все люди думают так, как Михаил Степанович. Он — сын своего отца и иначе рассуждать не может. Вот кончишь семинарию, будешь учителем где-нибудь у себя в улусе...

— Я ему тогда покажу...

Музейнин задумался.

Ночь большим лохматым зверем ложилась на берега. В кустарнике мигал костер. Ветер доносил до парохода горьковатый запах дыма и гортанный говор из далекого улуса.

Плескались волны.



# Т Е Н И П Р О Ш Л О Г О

ЗАП.-СИБ. КРАЕВЫЙ  
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
10194 № 194465







## НАРОД, ПОТЕРЯВШИЙ ИМЯ

---

### ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

---

О прошлом Хакассии до сих пор нельзя найти ни одной бесспорной работы. Работ же, которые давали бы марксистскую разработку исторических процессов, протекавших когда-то в долинах Абакана и обоих Ююсов, совсем не было.

Ко времени завоевания Сибири русскими в теперешней Хакассии обитал своего рода конгломерат народов, в котором тесно переплелись уйгуры, хакасы, киргизы. Эти народы, потомки которых после революции и взяли условное имя хакассов, создали когда-то незаурядную для средневековой Азии культуру. Китайские летописцы утверждают, что у них была письменность, знали они и земледелие: сеяли рожь, пшеницу, просо, ячмень, кырлык. Китайский монах Чан-Чун, по-

бывавший в орде Чингис-хана, видел гам муку, привезенную «из-за северных гор». Расчетливый служитель культа, кстати сказать, нашел, что она стоит слишком дорого, ибо везли ее «более, чем за две тысячи ли».

Паллас и Гмелин видели в минусинских степях остатки древних плавильных печей, настолько древних, что среди их обломков успели разбросать свои корни вековые сосны. Совсем недавно осколки старого гилля нашел колодезник хакасского совхоза тов. Прилуцкий... Но об этом в свое время.

Всякий, кто бывал в Хакасии, наталкивался на следы мощной оросительной системы, — еще одно доказательство большой сельскохозяйственной культуры в прошлом, и на величественные развалины старинных укреплений и городков.

Однако, вся эта культура оказалась похожей на юрту, поставленную на чужой дороге; на дороге, по которой суждено было пройти Чингис-хану, алтын-ханам и русским завоевателям. Они смели ее, как ветер сметает плодоносную пыль с каменистых степных прунтов. И народ, уцелевший в долинах Абакана и обоих Ююсов, после многовековых боев за родовое, экономическое и политическое господство, за господство на великих караванных путях, потерял на несколько столетий свое имя. Сами себя хакасы именовали по названиям племен и родов: сагаи, качинцы, бельтиры, койбалы, кызыльцы.

Популярный в свое время историк Фишер в своем об'емистом «Введении о знатнейших в Сибири и на границах ея народах» указывает даже точную дату:

«С 1757 года бывший сей прежде страшный китайцам народ от междоусобных несогласий и чрез ухищрения китайцев отчасти перевелся, а отчасти рассеялся, так-что земля их совсем опустела».

Но при чем тут «ухищрения китайцев»?

Надо думать, что почтенный историк, несмотря на свое немецкое происхождение, был вполне законченным российским патриотом.

Есть вещи, о которых патриотам лучше не вспоминать. Среди них одно из самых «почетных» мест занимают подробности завоевания и колонизации Сибири. А завоевание и колонизация — дело нескольких веков. Судя по новгородским летописям, воевода Яд-

рей ходил походом в «югорскую землю» еще в 1193 г. А в 1446 году другой новгородский воевода Василий Шенкурский даже выстроил в югорской земле острог. Царь Иван III в 1499 г. отправил «4024 чел. дворян и детей боярских, которые не токмо убили много само-<sup>1</sup>иди<sup>1</sup> и разорили их жилища, но, прошед Югорские горы, достигли стран у реки Оби» (Фишер).

Правда, все эти походы кончались неудачами. Но как бы там ни было, сведения о баснословных богатствах Сибири все чаще и чаще переваливали Урал, и участь ее была решена.

Огнем, топором и пулей пробивались с запада на восток буйные завоеватели, рубя по большим и малым сибирским рекам крепкие остроги и непокорные головы. Их донесения пестрели откровенными признаниями: «и многих людей огненным боем побили», «иноверцев многих орд и язык ратных людей на том бою побили и жизнью взяли»... Были даже такие рапорта: «взяли с бою 20 девок и 10 баб».

Впрочем, самое завоевание для туземцев было точками. Ягодки созревали уже в воеводских вотчинах и полицейских владениях. Как известно, полномочия воевод были довольно неопределенные (или уж слишком определенные): «делать всякие дела по своему высмотру и как бог на душу положит». Высмотры кончались иногда тем, что даже ко всему приученные туземцы предпочитали самоубийство: «ясашные люди с судов метались в воду и тонули».

А уцелевшие вымирали. По свидетельству Ядринцева, вымирали даже оседлые, то-есть наиболее крепкие. В 1851 году их в Западной Сибири числилось 40.470 человек, в 1868 — уже 37.153.

Под надежным покровительством воеводской дубины продвигалась к туземному населению и старая «рассейская культура». Сотни авантюристов несли сюда бусы, порох, водку, сифилис и православие. Эту выгодную для вящего закабаления масс «культуру» охотно воспринимали и местные князьки, в качестве дополнительного орудия к уже ветшавшему арсеналу своей феодальной власти.

В Хакассии и сейчас еще помнят родоначальника

---

<sup>1</sup> В те времена русские называли самоядью всех вообще сибирских туземцев.

Катанова — ревностного «поборника православия», силой загонявшего хакассов в реку Аскыз на крещение. Новоиспеченным христианам подносили чашку водки и полтинник.

За столь великие заслуги пожалован был Катанову из Санкт-Петербурга кафтан и добрый десяток медалей.

Так старый императорский Питер «шефствовал» над Сибирью.

Коренное сибирское население оказалось в самом настоящем рабстве. В старых церковных записях сохранилась такая: «Соборной церкви поп Макарий Федоров сказал: есть-де у него самоецкого рода девка Анютка, куплена у торгового человека, у Гришки Трофимова». В хакасском музее хранится кабальная запись 1846 года дворянской девицы Янгуловой на покупку ею в услужение за 200 рублей «сына инородца Ульчегачева».

На исходе XVIII века сибирские купцы даже отправили в Петербург челобитную с просьбой «узаконить рабство инородцев».

Впрочем, в этом едва ли была серьезная надобность. Говоря о торговле с туземцами, даже не революционер-исследователь М. Боголепов оговаривается: «Если можно назвать торговлей такие действия, в которых трудно провести грань между уголовным преступлением и коммерческой сделкой».

Затем пора своеобразного царского «использования окраин»... для освобождения центральной России от всяческих «вредных элементов». Многие видел неказистый гранитный столб, который отмежевывал Европу от Азии и о котором не склонный к сентиментам американский исследователь сибирской ссылки Дж. Кеннан писал когда-то:

«Ни один из пограничных камней в целом свете не был свидетелем такой тьмы человеческих страданий: нет ни одного, мимо которого прошло бы такое бесконечное множество жизней с разбитыми сердцами».

Только за время с 1823 по 1887 год в Сибирь было сослано 772.979 человек.

Царское правительство загоняло в далекую Сибирь и политических «преступников», и уголовных. Оторванные от центров революционного движения, не мало

помогли политические узники царизма делу культурного роста туземцев. Зато уголовщина и, особенно, равноценная ей по своим моральным качествам полицейщина вдоволь «куражилась» над «инородцами».

Вся без остатка Сибирь была отдана на поток и разграбление худшим из невежественных и жестоких царских сатрапов.

Добавить остается немного. Где было учиться туземцу, когда, по свидетельству того же Кеннана, «в Западной Сибири приходится 30 кабаков на одну школу; в Восточной — даже 35».

В 1890 году на всю теперешнюю Хакассию было три школы — в Усть-Абаканске, Аскызе и Усть-Еси — давно обрусевших улусах, где особенно силен был байский элемент — единственные туземцы, которых царское правительство не теснило, с которыми, наоборот, оно заигрывало. Особенно после того, как «организованная» эксплуатация эпохи промышленного капитала стала вытеснять ничем не прикрытый производ эпохи капитала торгового. Кроме Катанова, в Хакассии помнят бая Апуна Картина, получившего от Александра III золотом шитый кафтан: помнят голову Аскызской инородной управы Олько Чудогашева, творившего суд и расправу прямо у себя на крыльце. Этот семипудовый и вечно пьяный детина, в буквальном смысле слова «подметал» крыльцо боками и спинами провалившихся сородичей.

В прошлом столетии в Хакассии уже встречались бай, ставившие свое хозяйство на широкую капиталистическую ногу. В расчете на них и было введено туземное «самоуправление», предоставлявшее громадные права, так называемым, родоначальникам степных дум, а впоследствии — головам инородных управ.

Таковы были пути руссификации коренного сибирского населения.

Конечно, все это не могло не вызвать глухого недовольства. Ненависть к победителям жила среди побежденных до самой Октябрьской революции. Ее пытались использовать в своих интересах байство. Чтобы сохранить за собой свои старые позиции, оно хотело взять национально-освободительное движение в свои руки.

Байство сознательно отождествляло русский народ с русским правительством. Это была ставка на раз'еди-

нение людей одного класса, но разных национальностей.

На наших глазах эта ставка была бита.

---

## СПРАВКА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

---

Северной границей Хакассии являются степные пространства Новоселовского и Ужурского районов. На западе и юго-западе область граничит с Горной Шорией и Ойротской автономной областью по хребтам—Абаканскому и Кузнецкому Алатау. На юге — с Таннугувинской республикой по хребтам Саладжик и Сабинскому. На востоке граница проходит по Калтановскому хребту и Енисею.

По устройству поверхности область распадается на три резко выраженных части:

Южная, горно-таежная часть характеризуется чрезвычайно гористым ломаным рельефом, с разнообразнейшими картинами природы — от острых зубцов, покрытых снегами, высотой до 3000 метров (Зап. Саяны) до небольших ровных долин, впадин и логов. При продвижении на северо-восток резко выраженный гористый рельеф, занятый исключительно лесными массивами, переходит к более широким долинам притоков Абакана.

Центральная часть области представляет более однообразный массив горных степных пространств, переходящих с запада на восток от Кузнецкого Алатау в ровные степи, изредка всхолмленные с незаметным переходом к древним поймам рек Абакана и Енисея. По мере продвижения на север область пересекается отрогом Кузнецкого Алатау — Батеневским кряжем. Здесь, несмотря на гористый рельеф, все чаще встречаются спокойные долины, отходящие на восток и юго-восток.

Северная часть области делится на две почти равные половины, из которых западная, являясь предгорьями Кузнецкого Алатау, сходна по элементам рельефа с предгорьем южной части области, восточная же часть характерна чередованием больших спокойных долин с беспорядочным нагромождением оголенных

сопок и полностью относится к холмистой степи, пересеченной отрогами гор Тергеш.

Главнейшие реки области берут начало в горных массивах Западных Саян и Кузнецкого Алатау.

Густая сеть водных источников в южной и западной части области принадлежит к бассейну Абакана, из важнейших притоков которого можно назвать Большой и Малый Таштып, Тею, Есь, Аскыз и Уйбат.

Центральная часть области характеризуется незначительным количеством водных источников, относящихся к бассейну Енисея, который принимает здесь всего четыре притока — Биджу, Коксу, Тесь и Ербу.

В северной части наибольшее значение имеет система рек Черного и Белого Июсов и Саралы, слагающих в пределах области реку Чулым. На севере же разбросано и большинство озер. При чем, наряду с пресными озерами, встречаются соленые и горько-соленые, как Шира, Шунет, Беле и др.

В почвенном отношении Хакасская область отличается большим разнообразием. Южная освоенная часть характеризуется наличием черноземовидных тучных, средне-тучных и южных бедных черноземов. В центральной части области лесные суглинки на склонах гор переходят в южные черноземы и далее следует постепенное, малозаметное чередование южных черноземов с темно-каштановыми и каштановыми почвами степей. Встречаются довольно обширные площади, занятые глубокостолбчатыми солонцами. Характерны обширные площади глинистых песков. Поймы рек и берега озер заняты солончаково-болотными и болотными почвами. Северная часть обладает тучными и средне-тучными черноземами, по мере понижения переходящими в хрящеватые, суглинистые и южные хрящевато-цебневатые черноземы. Весьма нередки галечные отложения с неразвитыми почвами и солончаками.

Вся горная зона области покрыта сплошными лесами, смешанными в нижней полосе, а выше 1000 метров почти сплошь хвойными, при чем верхний пояс лесов образует, главным образом, кедр.

По данным лесозоономического обследования лесные богатства области распределяются следующим образом: пихты — 468.000 га, кедра — 440.000 га, листвен-

ницы — 1.540.000 га, сосны — 1.120.000 га, ели и других пород — 70.000 га.

Все эти данные взяты из материалов Хакасского облплана.

---

Небольшое примечание: большинство удобных для обработки земель было захвачено в свое время русским казачеством. Лучшие пастбища до Октябрьской революции принадлежали, на основе захватно-родового права, баям.

---

## СТЕПЬ И РОМАНТИКА

---

### Н А Б Е Р Е Г У У Й Б А Т А

---

На добрый десяток километров степной проселок отмечен серыми клочьями пыли. Как побитая собака за рассерженным хозяином, тянется она за скрипучей телегой, пока, наконец, не свалится мягким ковром на выжженные солнцем ковыли.

Слева — тальники, оторочившие берег Абакана, справа — ломаная, путаная линия холмов. Над головой — орлы и легкие просвечивающие облака.

Только по речным долинам полнокровная, густая зелень переливает солнечные пятна. Здесь целый день трезвонят жаворонки и бьют тяжелыми крыльями пестрые турпаны.

Изредка всадник. Изредка улус.

Улус — это вытопанная табунами лысина в траве и где-то посреди нее пять-шесть избушек, огороженных плетнями, в плетнях — приземистые восьмигранные бревенчатые юрты и покосившиеся амбарушки.

На дорогу выкатываются собаки, хрипло рапортуют хозяевам о проезжих. Кричат голые ребятишки.

И снова степь. Снова пыль и выжженные солнцем ковыли — пейзаж, чем-то напоминающий прекрасную, но пожелтевшую от времени гравюру.

В прогалинах тощего кустарника на берегу Уйбата уже горело два костра. Над одним покачивался медный чайник старика-минусинца, похожего на сусально-

го апостола с иконы, у второго копошились две хакасски с ребенком. Наш загорелся третьим.

Мы, три любознательных путешественника, только что выбрались из города и благодушествовали.

Прямо против нас тяжелой глыбой спускался в Абакан Изых — громадный темный конус, неровно усеченный поверху, а сбоку срезанный рекой. Справа, почти у самой кромки обрыва, светлел неправдоподобно правильный квадрат — след выпавшего камня.

Эпчелей, как истый хакасс — немного поэт и бескорыстный хранитель степных преданий, — повесив чайник над костром, не торопясь, рассказывает:

— Был у нас когда-то богатырь, не знавший ни отца, ни матери, ни своего имени. Кочевал он между Абаканом и Енисеем. Вот как-то едет он Койбайской степью и видит гору Самохвал. И захотелось ему подехать к этой горе. А перед ней шумит река Анэрчин. Тронул богатырь коня. Но конь боится и не прыгает. От'ехал богатырь, разогнал коня и снова тот на самом берегу остановился. Широка и страшна река Анэрчин. Тогда богатырь приподнялся на стременах и крикнул на всю степь: перепрыгну реку и назову ее, как сам хочу. От'ехал на несколько верст назад и прыгнул прямо к Самохвалу. Повернулся и говорит: будешь ты, река, называться теперь Ах-бан — «не унесло».

На этом месте Эпчелей делает небольшое филологическое отступление: многие объясняют происхождение слова «Абакан» от «аба» — медведь и «кан» — кровь. Объяснение соблазнительное, но неверное, так как Абакан — название вовсе не хакасское, а русское. По хакасски название реки звучит, как Ахбан.

— Теперь поехал богатырь к устью Уйбата. Примерно, туда, где мы сидим. Богатырь привязал к скале коня и лег отдохнуть. Спит один день, другой, третий. А потом слышит, как будто комары шумят. Проснулся богатырь и видит: прямо против него на горе Изых стоит войско моллар-монголов. Загорелось сердце богатыря гневом. Натянул он свой лук и выпустил стрелу. Но в гневе взял ниже и только отбил кусок скалы. Скала упала в Абакан, на ее месте остался тот самый квадрат, который вы видите. Монголы в ужасе разбежались.

— Поехал богатырь дальше и остановился около го-

ры Ук, на Камыште, и встретил там бая знатного рода. Тот его и спрашивает: «Как твое имя?» Смутился богатырь и не знает, что сказать. Посмотрел кругом и видит — плывет пена по реке, он так себя и назвал: Ах-Кюбек — белая пена. С тех пор и узнал народ его имя...

«Апостол» из Минусинска, подсевший к нам, не то ласково, не то усмешливо перебил:

— Выдумщики народ. Сказок этих у них... Что ни гора, то сказка, что ни река — пословица. Мастера языком трепать.

Эпчелей немножко знал старика. Он был одним из тех, которые в свое время диктовали улусам цены на скот и судьбу. Он владел хакасским языком, пил с хозяином юрты из одной чашки айран, курил одну трубку и артистически сплевывал в сторону.

— Хорошо работаете? — спросил всегда деликатный Александр Рудольфович.

— Какая теперь работа! Вы раньше бывали в этих местах? Вот были места. И люди были. Возьмите вы, к примеру, Доможакова... У человека до четырех тысяч одних лошадей водилось...

Старик оживился.

— А то был еще на Июсе Сукин. Так у того столько скота развелось, что, бывало, загонит его в озеро и озера не видать. Умнейшие татары были. А где они теперь? Осталась одна гольтепа. Эти и всегда-то ворами были, а теперь, как дали им волю... Тошно в улус заехать. Нищие. Да, вспомнишь времечко. До чего ж тут было хорошо!

Старик вздохнул. И весь на минуту стал каким-то масляным. Маслом лоснились длинные волосы и румяные щеки, масло сочилось из глаз.

Наш чайник закипел. Александр Рудольфович вытряхнул из кулька сахар.

Хакаска-старуха поднялась с места, подошла к нему и молча протянула руку. Музеянин поделился. Старуха передала сахар ребенку.

А минусинец рассердился:

— Вот видите! Хуже всякого нищего. Ей и сахар-то не нужен. У ней его, может быть, больше нашего с вами. А вот обязательно попросит. Жадность. И обязательно у русского. Небось, у своего татарина и

не подумала бы. А попробуйте вы у нее попросить!.. Глины куска не даст.

Александр Рудольфович хотел было возразить, но раздумал. И через минуту старик уже кряхтел, затягивая веревками свой пухлый воз. Ему помогал молчаливый подросток, типа вечно голодных племянников.

— Куда ты конец-то тычешь? — ворчал минусинец. — Куда, дура безрукая! Вот навязали остолопа на мою голову.

Остолоп дернул вожжами. Старик церемонно поклонился:

— Прощевайте, граждане!

Эпчелей с облегчением растянулся на траве. Над нашими головами застывало до утра вечернее матовое небо — тихое и грустное. Только на западе грядка неожиданно потемневших облаков караваном усталых верблюдов тянулась за синие пригорки. Эпчелей рассеянно провожал их глазами:

— Кому, кроме поэтов, и родиться здесь! Бездонное небо, широкая степь, сонные стада, ленивая жизнь. Жизнь впустую... Жизнь, которую может вынести только азиат, философ или поэт.

— А вы, азиат и поэт, почему чай не пьете?

— Не хочется что-то без хлеба.

Старуха-хакасска словно поняла, о чем идет речь. Она подошла к телеге, пошарила под грудой тряпья, достала несколько лепешек, жареную рыбу и подошла к нам:

— На!

Это было, наверное, единственное слово, которое она знала на русском языке.

Александр Рудольфович оглянулся на кусты, за которыми еще поскрипывал тяжелый воз иконописного минусинца. Эпчелей угадал его движение:

— Чорт с ним, со стариком. Он иначе мыслить все равно не будет. А вот не помните ли вы студента, который ехал с нами на пароходе, на «Соколе», в двенадцатом или тринадцатом году? Он еще рассуждал насчет того, что у татар никакого чувства быть не может...

И Эпчелей рассказал мне главу, которой начинается эта книга.

## ЧЕЛОВЕК, ИСПРАВИВШИЙ ОТКЛОНЕНИЕ

Хозяин был где-то в гостях, и пока за ним ездили, мы в юрте оказались одни, если не считать молчаливой старухи — его матери.

Вечерело. Но запоздавший солнечный луч, прорвавшийся в тюнок — отверстие над очагом, — все еще дрожал в юрте, спотыкаясь о тяжелые кованые сундуки, путаясь в ярких, цветистых коврах. И в нем нелепо вилась пыль, лениво расплывался синеватый дымок очага.

Старуха сидела у огня, словно вырезанная из камня. Ее трубка была не моложе ее самой.

И становилось чуточку странно... Седла в углу, войлок, брошенный прямо на утопанную землю, приземистый столик и за ним люди, неудобно скрестившие ноги... Уж действительно — не все ли врут календарь? Который сейчас век? Неужели двадцатый? А может быть пятнадцатый?

Но на столике, рядом с деревянными чашками для айрана, тускло поблескивали в полумраке тарелки, скромно расписанные советскими лозунгами, как в самой обычной нарпитовской столовой. К баранине старуха подала горчицу, перец, вилки и ножи.

Тогда опять-таки зачем здесь древние амулеты?

Эпчелей показывал их торжественно, как некий жрец таинственного культа.

— Видите кусочек материи, расшитый пестрой парчей? Это алтын-тос, золотой божок. Вешается обычно рядом с иконой. Трогательное соседство! Помогает от неопределенной внутренней боли. А вот эта палочка, воткнутая в глину, — чабзах-тос — что-то вроде глазного врача; хотя и бесполезное, но зато единственное в этих местах средство от трахомы. А это аба-тос — медвежий тос — универсальное средство: применяется против нарывов, ревматизма, подагры, венерических болезней. Атыгжи-тос — меткий стрелок и хозяин скота. Наконец, чага-тос — охранитель юрты. Когда в юрту часто заглядывает смерть, — это значит, что чага-тос серьезно обижен и юрту лучше всего перенести на другое место. Кажется, больше нет. В этой юрте они, собственно говоря, только для виду. Так сказать,

наглядные пособия. Как, впрочем, и вся юрта. Поэтому тосов здесь не кормят. А вообще-то в других юртах им полагается свой паек. Теперь обратите внимание на топор. Он, как и ружье, всегда обертывается в кожу. Характерная деталь для народа, только что отчалившего от бронзового века...

В юрту вошел хозяин.

— Эзень, нанджилар! Здравствуйте, друзья!

Эпчелей шутиливо ответил старинным хакасским приветствием:

Возраст твой да будет долгим!

Природа твоя да будет высокой!

Живи, пока не побелеет черная голова твоя!

Живи, пока не пожелтеют белые зубы твои!

Уселись снова за столиком, как и прежде, скрестив ноги. Однако, разговор — обычный для юрты, медлительный и чинный — развертывался что-то чересчур уж медленно. Оба мои спутника выжидательно молчали. Говорить приходилось больше мне. В этом был какой-то «подвох». Но какой?

Как-будто, ничего особенного. Хозяин юрты мало чем отличался от других таких же хозяев. Те же неторопливые движения, та же замедленная речь. Правда, хорошая, грамотная русская речь. Но это еще не редкость. Зато жена его по-русски не знала ни слова. Вполне обычное явление. Одеты они оба как полагается. Она — в длинном без пояса платье с цветными наплечниками и нарукавниками, он — в яркой рубахе с широким отложным воротником и сотней мелких складок на груди и на спине.

И юрта была, как многие другие. И гости, которые один за другим подсаживались к очагу. Почетные — ближе к нам, остальные — к двери.

Должно быть специально для нашего музейника пригласили чаттханиста. И он пел гудящим горловым голосом, сменяя песню старым былинным сказом и сказ-песней.

— Знаменитого Пазрана прежние баи заставляли петь стоя на столбе, — вспомнил Эпчелей, — чтобы все видели, у кого он поет. А когда певец уставал, его отливали холодной водой...

— Ну, я славу богу, не прежний бай, — отделался хозяин и снова заговорил со мной.

И тогда только раз'яснился подвох, подстроенный, надо думать, Эпчелеем. Хозяин спросил меня — где я учился.

— В Казани.

— А где в Казани?

Я почувствовал себя в роли профессора, которого заставили прочесть лекцию об интегральном исчислении в школе малограмотных. Как ему ответить, чтобы он понял. В конце концов я пробормотал:

— В университете.

— А где в университете?

Опять та же история. И опять ответ, показавшийся мне нелепым:

— На юридическом.

Хозяин приятно изумился:

— Значит, у профессора Залесского, у Ивановского? Теперь изумился я:

— А откуда вы их знаете?

— Так я тоже этот факультет кончил.

Александр Рудольфович и Эпчелей были в восторге.

— Вот где могут встретиться товарищи по университету!

Мой собеседник оказался племянником казанского профессора-тюрколога, — человека, пользовавшегося в свое время мировой известностью.

На другой день я спросил Эпчелей:

— Почему же он не работает где-нибудь? Почему забился в юрту?

— Как вам сказать? — подумал Эпчелей. — Во-первых, прямого потомка кочевников, что ни говорите, степь тянет. И прадед, и дед, и отец определили ему твердый путь — за своим табуном, за своей отарой. А он пошел... в университет. Сейчас, как видите, отклонение исправлено. Во-вторых... Я думаю, что он еще будет служить. В наше время работа тянет сильнее, чем степь.

---

## ЗАУРЯД-ПРАПОРЩИК МИРОВОЙ СКОРБИ

---

Собаки, наконец, отвязались от нас и, беззлобно долаиваясь, повернули назад. Мы тронули коней на рысь, скосив глаза на Сарыха. Его буланый, даже не

качнувшись, перешел на свою знаменитую иноходь. Прекрасно дрессированный, он шел голова в голову с жеребцом Эпчелея.

Эпчелей не сдержался:

— Ну-ка, Сарых, проверим твоего хваленого иноходца! Посмотрим, как он в ходу.

— Ходит мало-мало.

Сарых был великолепен. Его яркая зеленая рубаха трепалась по ветру, словно вымпел наступающей орды. Повод он небрежно бросил на шею иноходца, а сам выбирал из кисета табак. Стремена по-хакасски были подтянуты высоко, и он покачивался в седле, как у себя в юрте на войлоке, полузакрыв глаза и выкуривая за трубкой трубку. Коричневое лицо степняка (недаром его называли Сарых — желтый) было невозмутимо. Он рассказывал о том, как выиграл винтовку. Лучшее воспоминание в его жизни.

Было так. Приехал в улус казак из Форпоста, лихой наездник. Сарых о нем слышал давно. Говорили, что он любую лошадь на всем скаку остановит арканом.

Поспорили. Сарых поставил своего коня. Казак — винтовку. И началось состязание, в котором принял участие весь улус. Выбрали тридцать косячных лошадей. Все мальчишки улуса сбежались на поле.

Сначала коней погнали мимо казака. Из тридцати он заарканил два десятка. И, довольный, слез с коня.

Сарых даже не сел в седло. Он только крепче уперся ногами в землю. Те же тридцать лошадей одна за другой пронесли мимо него. И ни одна не ушла от аркана старого пастуха. Кони или останавливались на всем скаку, или валились на землю.

С тех пор Сарыха знала вся степь. А он почувствовал себя богатырем.

Ехали мы, как кочевники, без дорог. Ехали долго. И Эпчелей уже начал терять терпение. Он толкнул жеребца каблуком. Конь рванулся вперед и почти удвоился. Но иноходец шел с ним голова в голову, хотя Сарых даже не дотронулся до повода.

Все быстрее бежали назад ковыли, пока не закачались в глазах тысячами подвижных серебристых змей. Справа то опускалась, то поднималась гряда выжженных солнцем холмов. Одна за другой тонули в степь

ном просторе шапки курганов. Подходили и уходили улусы.

Эпчелей не выдержал:

— Ну, и конь у тебя! Придется не на шутку взять.

Он приподнялся в седле и вытянул коня нагайкой.

Я — не степняк и не наездник и сразу же отстал Александр Рудольфович тоже. А те шли попрежнему. Все так же с трубкой в зубах покачивался Сарых, все так же лежал на шее его иноходца нетронутый по вод.

Но прошло минут пять и лошади вдруг разделились. Подробности Эпчелей рассказал уже после. Оказалось Сарыху тоже надоело такое соревнование и он вынул наконец изо рта свою трубку:

— А ну, держись!..

Взял в руки повод и гикнул.

Через минуту Эпчелей потерял его из виду.

Сарыха мы нашли уже потом, на холме. Он сидел и курил, дожидаясь нас. Около него бродил спутанный иноходец.

— Ну, хорош иноходец? Ходит мало-мало?

Эпчелей ничего не ответил.

— Хо! Найди еще такого коня по всему Ахбану! Ходил я прошлым годом в Урянхай. Не спал никак. Все боялся — возьмут иноходца. Взять не взяли, только бай один пришел и говорит: «Вот табун — 700 лошадей, бери двадцать любых, отдай иноходца». — Хо! — говорю, — у меня всего сорок коней, на тебе все сорок, дай мне второго такого. Конь есть товарищ, который не опережает хозяина и не отстает от него. Какой хакас отдаст своего коня!

Эпчелей повернулся к нам:

— Вот вам кусочек степной романтики. Куда вы от нее денетесь?

Над степью вытянулся месяц и всю ее без остатка затопил своей белой тоской. Потянуло по курганам сыростью с Камышты. Курился чопорный туман над Абаканом. Ярче разгорались в улусах костры.

Застонал коростель.

Александр Рудольфович мечтал вслух:

— Какая красота! Сколько веков такими же вот лунными ночами отбрасывают эти курганы на ковыли такие же вот черные тени. Степь, как спящая красави-

ца. Мне все кажется, что прискачет таинственный принц из сказки, поцелует ее пожарче и вновь зашумит она былым привольем. Загремит чингисхановой ордой.

Эпчелей не согласился:

— Такая романтика мне уже не нравится. Хватит с нас завоевателей! Давно прискакал ваш всадник. Вернее сказать, всадница. И зовут ее — Октябрьская революция. Но, черт возьми, как тут много еще работы! Ведь надо с мыла, с полотенца, с букваря начинать.

— Все это так, конечно... Но все-таки... Жаль чего-то такого, что уходит и никогда больше не повторится. Понимаете, — никогда!

— Ой, не напрасно, кажется, окрестили вас зауряд-прапорщиком мировой скорби. Помните? Только о чем вы сейчас скорбите? Отряхните с себя архивную пыль. Оглянитесь вокруг, мечтательный музейник! Вы прекрасно чувствуете красоту степного кургана, но вы совсем не чувствуете красоты распаханых степей. А таким степям ваш милый курган, откровенно говоря, основательно мешает.

— Да, вы, Эпчелей, говорите совсем как агитатор!

— Ну, какой там агитатор! Я пока — только хакасс.

---

## В О Х О Т Н И Ч Ь Е М У Л У С Е

---

— Давно это было. Так давно, что человек не помнит. Тогда только великий Худай был на небе и тайга на земле. И так росла эта тайга, что почти не осталось на земле свободного места. Видит Худай, что нигде будет жить человеку. И вот послал он на землю семь дев — читы-хыс. Семь посланниц своих, прекрасных, как звезды в теплую ночь, как степные цветы ранним утром.

— Наказал им Худай — остановить тайгу, не пускать ее в широкие долины Абакана.

— Никому неизвестно, сколько дней и ночей билась прекрасные девы. Только остановилась тайга, покорила девичьей силе. Но не выдержали и сами читы-хыс. Схватились последним объёмом с тайгой и окаменели; навсегда остались там, где мелким кустарником да серым мохом рассыпалась тайга.

— Вот почему эти семь холмов называются Читы-хыс.

За Читы-хыс все выше тасхылы — беслесные горные вершины. Все реже улусы. Все темнее тайга. По самое седло врезаются лошади в густую траву. На полянах — ковры ириса, левкоев, водосбора, сараны, орхидей, гелиотропов. Заросли караганы.

В юрте, около которой привязали мы к полусгнившему плетню своих лошадей, — ни тяжелых кованых сундуков, ни вычурных медных кувшинов. Два-три ящичка, две литовки, охотничья сумка, седло и столетняя кремневка на мужской половине. На женской — глиняные горшки, глиняные чашки, кадки и ручная мельница — неуклюжий деревянный обрубок.

Да и сама юрта... Это уже не деревянный, солидный сруб, прикрытый лиственничной корой. Она вся сплошь из коры, как было при прадедах. И она выше степной юрты. Вместе с горами тянется она вверх, за веселой солнечной улыбкой. В ней кажется прохладнее и легче.

Ведет разговор старуха у очага, такая же гостья, как и мы. Но она старшая. Поэтому все терпеливо ждут, пока она не доскажет свою фразу. А говорит она не торопясь. После каждого слова — глоток горького дыма из длинной, давным давно пережженной трубки.

Хозяин юрты Тахтай принес показать свое ружье — тяжелую изувеченную громадину екатерининских времен.

Тахтай для гостей одел полное снаряжение — сумку, ремни, рожок с порохом. Без лишних просьб он поставил свое ружье на сошники, насыпал на полку порох и высек кремнем искру.

— Как можно стрелять из такой махины по козам? Ведь ее нужно поставить, нужно насыпать порох, нужно, наконец, прицелиться!

— Прوماхов почти не бывает! — сказал Эпчелей.

Тахтай осторожно усмехнулся:

— Стреляем маленьчко.

В этот улус мы приехали посмотреть камланье. У Тахтая болен ребенок и он пригласил сегодня Оркота — большого шамана тайги.

Мы приехали как-раз во время. Ночь уже прижималась к остывающей земле, чуть согретая мягкой дро-

жью крупных ласковых звезд. У юрты разгорался костер. Дверь скрипела, все чаще и чаще захлопываясь за гостями, пока не впустила последнего, которому осталось ровно столько места, чтобы, не шелохнувшись, стоять у косяка.

Разговаривать можно было только шопотом. А когда вошел Тахтай и сказал, что на западе погасла последняя лента зари, в юрте стало и вовсе тихо. Только больной ребенок всхлипывал под шубой, да было слышно, как сдерживала рыдания Танаджах, постаревшая от горя молодая мать.

Тахтай взглянул на сына и поднялся. С низким поклоном подошел он к Оркоту, чтобы помочь ему одеться. В его руках грязный сызым шамана казался чортовски тяжелым. Вздрагивали бубенцы, болтались пестрые ленты, сурово топорщились перья филина.

Было до того тихо, что не шелохнулся даже густой, жирный, как баранье сало, воздух юрты. Шаман оделся. И только тогда все вышли к костру. На рваной отцовской шубе вынесли ребенка. Он дрожал от холода и страха, впиваясь воспаленными глазами в старика-шамана. Тот уже сидел у огня, низко опустив свою громадную седеющую голову. Чуть поскрипывая, качались и шумели кедры.

Мне казалось, что Оркот засыпает. Но старый шаман не спал. Он перебирал в памяти слова древних заклятий. И его холодные бесстрастные глаза спокойно пробежали по знакомым лицам. Минуту, две...

И вот над головами собравшихся поплыл первый глухой удар бубна.

— Че, барам!

— Но, поедем! — перевел Элчелей. И добавил: — это будет довольно редкое камланье духу огня — Ымай, покровительнице детей. Сейчас он мысленно садится на коня и едет к ней в юрту.

Оркот, действительно, резко свистнул и захрапел, как старая, запаленная лошадь.

— Хури! Хури! Хури! Хури! Я лечу через бури, через град и бледные молнии. Будь милостива ко мне, тридцатизубая мать-дева, сороказубая огонь-мать! Ни разу не рассыпал я красных углей, не пустил я по ветру пепла, не плескал я в огонь кипящую воду. Для тебя я камень черный, семигранный опоясал крепко в

семь прядей шелком белым и голубым. Не мешай мне, серебряная гора, которую не может обойти солнце! Не мешай мне, золотая гора, которую не может обойти месяц! Не мешай мне, Хан-Салагай, дух ненависти и вражды!

Как замороженные, слушали его хакассы. Сумбурная и дикая поэзия заклинаний Оркота захватила их целиком. Они не спускали с него глаз, покачиваясь и передергиваясь, невольно повторяя каждое его движение. Он был здесь хозяином! Он, который стерег всю судьбу хакасса. К нему обращались при рождении, при смерти, при свадьбе, при болезни, при краже, — во всех случаях небогатой впечатлениями степной жизни. Он учил, наставлял, руководил. Не потому ли байство, одной рукой раздувавшее православное кадило, другой рукой поддерживало шаманский бубен!

Оркот поднялся и полынным венником плеснул воду из деревянной чашки:

— Сэк!

— Сэк! -- повторили за ним в кругу.

Тахтай с поклоном протянул шаману ковшик араки. Шаман выпил и закружился вокруг костра. Все быстрее и быстрее.

— Синюющие, синие долины! Зеленеющие, зеленые леса! Через яр, за которым не слышно голоса, через кипящее озеро и кипящий ад, через девять черных адских ступеней — все одолею я на пути к тебе, о, Ымай, священная мать-огонь! Вот стоишь ты в медно-красной юрте. Постель твоя из красного шелка. Красного шелка одеяние твое. Одна пола твоего платья развевается над Кымом-Енисеем, другая — над Ахбаном — быстрой рекой. Подобно ветру, мчишься ты по степи на огненно-рыжем скакуне и огненно-рыжее солнце кровью заливает твою степь и твою золотую юрту. О, Ымай, мать-огонь! Громче бей в свой красный, медный, звонкий бубен этим пылающим вечером. Сейчас ты принимаешь образ дитяти. В сумерки ты играешь, распустивши волосы, подобно молодой девице. Ночью ты надеваешь на себя богатырскую кольчугу, разукрашенную красной краской и когтями соболей...

Оркот неожиданно опустился на пол и забормотал так, что его трудно стало понимать.

Эпчелей шопотом объяснял:

— Это он беседует с Ымай.

Тахтай, низко кланяясь, подавал шаману табак и вино.

— Ноги твои да ступают твердо! — благодарил тот и, не глядя, брал то трубку, то ковш. И снова бормотал, перезванивая бубенцами:

— Ты согреваешь белые облака и делаешь их красными. Ты выжигаеть землю и делаешь ее черной...

Беседа с духом явно затягивалась. Тахтай и пятый, и шестой раз подавал шаману чашку араки и трубку. Тот заметно пьянел, и когда снова закружился в своей дикой пляске, то стал все больше и больше походить на неистового плясуна из кукольного театра с его невероятными, деревянными движениями.

Наконец, арака пересилила. А может быть старику просто надоело. И старый Оркот тяжело грохнулся на землю.

Ребенок пронзительно и страшно крикнул. Но никто не взглянул на него.

Тахтай подошел к шаману и поклонился:

— Счастливо ли было твое путешествие, кам?

Оркот пробормотал:

— Да! Пусть кишит перед тобой твое потомство!

И сразу зашумели десятки голосов. Гости Тахтая поднялись с мест. Они сами качались, как пьяные. Кто-то тащил барана. Несли деревянные ведра с айраном и аракой.

Дорого обойдется Тахтаю камланье. Он растерянно улыбался, кланялся и благодарил.

Только Танаджах не смеялась и не радовалась. Она припала головой к худенькому тельцу ребенка и беззвучно плакала. Материнские глаза рассмотрели на бледном личике сына черную тень нелепой и обидной смерти.

Оркот, покачивая головой, осматривал теленка — свой заработок за эту ночь.

Мы вышли из улуса.

Белесый рассвет, спотыкаясь, бродил по серой траве. Над темносиними тасхылами курился утренний туман. Холодно.

---

## СТЕПЬ БЕЗ РОМАНТИКИ

---

### Л Ю Д И О Д Н О Й К О С Т И

---

Летом 1925 года в Хакассию можно было попасть уже по железной дороге. Но что это была за дорога! Поезд шел так медленно и так боязливо, что, казалось, он, словно старый таежный конь, ощупывает своим железным копытом каждый попавшийся камешек. Пассажирам оставалось только подтрунивать над собой и над пустующим вагоном.

Впрочем, кто хотел создать себе более или менее полное представление о рельефе Хакассии, тот ничего не проигрывал от такой поездки. Рельсовый путь пересек и северную, и центральную, и южную часть области (тогда — округа).

Еще в нехакасском Ужурском районе начинается гористая степь. Горы справа, горы слева. И даже впереди горы. Тогда поезд, не торопясь, протискивается в туннель. А за туннелем долго и осторожно ползет над темными котловинами.

Потом все чаще и чаще подбираются к рельсам лиственницы, сосны, березняки. И около станции Сон поезд уже идет великолепной горной тайгой.

Наконец, у станции Уйбат начинается степь — ровная и тягостная. Поезд, забыв свою осторожность, торопится пробежать последние 100 километров мимо ковылей и зарослей ириса, мимо отпрянувших в сторону улусов, пока не замаячит впереди последняя станция Ачминдора — Абакан.

В 1925 году эта станция могла гордиться только своим будущим. Тогда здесь было небольшое деревенное здание вокзала, окруженное десятком простеньких мазанок, перронная лавка, сторожевые будки... И все.

У вокзала толпились ящики, готовые за сходную цену отвезти вас в Усть-Абаканск — столицу Хакасского округа.

Для этого нужно было три или четыре километра трястись по каким-то ямам и овражкам, по кочкам зеленого ириса или, как его здесь зовут, пикульника.

Но столица встречала приезжих невесело. Подсохшая грязь безжалостно подбрасывала колеса телеги и с боку на бок перешвыривала весь экипаж. А когда кончалась тряска на колесах, начинался бег взапуски по квартирам. В селе негде было повернуться.

Поэтому в Усть-Абаканске пассажиры не задерживались. Предпочитали с первой подвернувшейся подвой ехать дальше.

Мой возница Яков Федорович, бывший лавочник, предусмотрительно сменивший в первые месяцы революции свою профессию, оказался мужиком разговорчивым. Начал он свою болтовню с оправдательной тиранды:

— Оно, конечно, торговлишка у меня была ничего себе, подходящая торговлишка. Но совершенно бакалейная. Никакого вреда от нее народу не было, кроме пользы.

И только окончательно уверившись, что я еду не по служебным делам, а просто так — в дальний Таштып к знакомым, он перестал прятаться за свои защитные рассуждения. Он знал в лицо всех богатеев степи и, надо думать, со многими водил свою деловую «хлеб-соль». Мне это было кстати. Мне хотелось проследить остатки родовых отношений в улусе.

Первую остановку мы решили сделать в Кулугашевском улусе, у старика Кулугашева (в Хакасии еще жила традиция — звать улусы по фамилиям родовых баев).

— Крепкий старик! — почтительно удостоверил Яков Федорович. — Умел хозяйство держать. Строгий старик. Ну, справедливый, безошибочный. Был у него работник, помню, — Чугунекон Васька. Мужичонка так

себе, незавидный. Однако, задумчивый. Мысли держал какие-то. Глупые, понятно, мысли. Откуда же ему ума набраться? И вот от этих своих мыслей и брякни он старику Кулугашеву несусветное свое упрямство — ругательное слово или в этом роде что-то. У нас бы как? С'ездил бы ему хозяин в ухо и выгнал бы к чертям собачьим. А старик — нет. Старик созвал вроде бы как суд. Приехали к нему Райков, Доможаков, Картин — тоже люди все крепкие, хозяйственные — скота у всех тысячи. Собрались они, обсудили дело. А уж потом связали Ваську, раба божьего, и дали ему по силе-возможности каждый.

— Ну, и что?

— Ну, и ничего. У них свой закон такой был. Родовой суд, что ли, назывался. А Васька ничего — отлежался. Недели через две встал, да и опять за работу. Податься-то ему все едино некуда. У них в улусах на этот счет порядок был. Уж если кого один хозяин выгонит, к другому не ходи. Все-одно не примет. Дельные хозяева были, это что и говорить. Правда, в конце концов Васька ушел. Ну, это уж вдругорядь. После революции. Он опять по своему характеру не утерпел. «Не хочу, — говорит, — чтобы ты на моем горбу ошибки свои вымещал». Ну, тут, по совести говоря, старик осерчал. Опять таким же порядком суд созвал, опять обсудили все честь по чести, но уж избили в этот раз, прямо сказать, до полусмерти.

— А куда этот Васька потом девался? Не знаете?

— А кто его разберет? Говорят люди, в сойотскую сторону подался, — Танну-Тува теперь что ли называется. Потом, говорят, вернулся, шаманил маленько. Известно, человеку после такого случая хорошего житья не видать. Ну, сам виноват...

Бывший хозяин бакалейной лавки не скрывал своего уважения к бывшему укладу старой байской степи.

Но мы уже под'езжали.

Можно было подумать, что Кулугашевский улус старательно прятался от людей. Чтобы попасть в него, пришлось свернуть по обрыву в густые тальники Абакана и долго трястись по кочкам, по гальке, рассыпанной берегом реки.

Это впечатление не рассеялось и при знакомстве с кулугашевским домом. Громадный, высокий забор

плотно охватывал все владение старого бая. Во дворе, где выстроились в ряд сенокосилки, нас встретил добрый десяток злых, поджарых собак, от которых отбиться можно было только с помощью хозяев.

К сожалению, самого старика дома не оказалось. Встречал меня его сын.

Встречал по-русски. Провел мимо юрты прямо в двухэтажный зимник. Этим русская встреча и ограничилась. Дальше все пошло по чину вполне азиатскому, начиная со стереотипной хозяйской фразы:

— Я не знаю, кто вы такой и откуда вы едете...

Врал он отчаянно. В степи стоит только проехать один улус и уже на десятки километров забежит вперед хобар — степная весть. Она везде потом расшепчет — кто вы такой, откуда вы едете, куда вы едете и зачем вы едете. Изобретение не мудрое, но освященное веками любопытства и предосторожности.

Кроме нас с ним, за столом сидела еще хозяйка и гостья—родственница.

К концу ужина долго не клеившийся разговор нашел какую-то свою колею. Оказалось — хозяин был членом сельсовета, а гостья — женделегаткой.

Он не плохо, со своей точки зрения, говорил об экономике Аскызского района, о хозяйственном уклоне его.

— Нам здесь пшеница ни к чему. Район истари скотоводческий и переходить на пшеницу невыгодно. Пусть пастух живет пастухом. Но для нашего скотоводства нужны просторы. Надо сейчас добиться, чтобы за хакассами закрепили те надель, которые полагаются кочевникам.

Гостья молчала. Втянуть ее в разговор оказалось совершенно безнадежным предприятием. Это была, надо думать, одна из самых безгласных делегаток во всем Советском союзе. Так, ни слова не сказав, она и ушла.

Утром я поднялся на рассвете и спустился вниз. Там, в полуподвале, обувался старик-батрак. Скопив на меня глаза, он молча продолжал обуваться. Я хватился за карман, но папирос там не оказалось... Старик понял мое движение, вытащил кисет и, так же молча, протянул его мне. Я закурил.

— Говорят, что твой хозяин член сельсовета, а его сестра — делегатка?

Старик подтвердил.

— Ты их тоже выбирал?

— А как же.

— Почему? Батрак, а голосовал за хозяина?

Старик меня не понял. Во-первых, хозяин — пай-кызы — богатый человек, во-вторых, он единственный грамотей в улусе. Кого же и выбирать, как не его! Он богатый, пусть он и служит.

— Но зачем тебе, батраку, нужен в сельсовете хозяин?

Старик опять ничего не понял.

— Я не батрак.

— Постой, но ты же работаешь на хозяина? Ты же получаешь за это деньги?

— Нет, я у него живу.

— И он тебе ничего не дает?

— Зачем не дает. В прошлом году овечку давал.

— За деньги?

— Зачем за деньги! Он мне помогал, я ему помогал. Мы — персюги — одной кости, одного рода.

---

## СЫН ОЛЬКО ЧУДОГАШЕВА

---

В Усть-Еси — обрусевшем улусе — бывший бакалейный лавочник завез меня к Александру Чудогашеву, сыну знаменитого Олько, головы аскызской инородной управы, того самого, который подметал крыльцо боками и спинами своих сородичей.

Много воды утекло с тех пор из Еси в Абакан, из Абакана в Енисей. Но если бы мог старый голова подняться из могилы и взглянуть на свое хозяйство, он, наверное, остался бы доволен. Его крепкий, укладистый двухэтажный дом по-прежнему строго разбит на две половины: в верхней — хозяин с семьей, с граммофоном, коврами и мягкой мебелью; внизу — батраки, полаты, скамья и стол.

Двор все так же был загроможден амбарами, кладовушками, сараями, пригонами. Здесь Олько хранил в своих закромах по 10-15 тысяч пудов кедрового ореха, по 20-30 тысяч пудов хлеба, по нескольку тысяч беличьих шкурок. Сын — хранит имущество Усть-Есинского машинного товарищества, которое, по справед-

ливости, можно было бы назвать небольшим акционерным обществом «А. Чудогашев и компания».

Торговал Олько по-сибирски — в кредит: бери, — осенью рассчитаемся. Собирали долги приказчики и трое сыновей. В том числе и Александр. В машинном товариществе долги собирают сами пайщики.

Впрочем, об отце Александр Алексеевич Чудогашев сейчас не вспоминает. Хотя вообще о старых временах он не прочь поговорить. Он называет их временами жестокими и горькими. Иногда он с некоторой дрожью в своем хрипловатом басы скорбит о годах, потерянных для Хакасии.

— Если бы, к примеру, теперешнюю просвещенность да лет на двадцать раньше... Далеко бы ушел народ! А ведь мы как учились? На медные гроши. У дьячка под лавкой. Великое это сейчас дело делается!

Однако, Александр Алексеевич считает, что лично его советская власть немного обидела. Поэтому, дескать, он и попал в свое время в банду барона Унгерна.

— Но теперь это дело прошлое...

Сын головы Олько уже освоился и уже приспособился. Он даже чувствовал себя неким пионером советских убеждений на берегах чудосочной речушки Еси. Дом Чудогашева — единственный на этой речушке дом с книжным шкафом, где рядом с «Родиной» и «Нивой» прошлого столетия хранились резолюции партийных съездов, сельскохозяйственные брошюры, уставы, справочники, уголовный кодекс и курс политической экономии Богданова. Александр Алексеевич Чудогашев выписывал «Правду», «Бедноту», «Советскую Сибирь».

— Я так полагаю, что в будущем времени Хакасии должно еще больше прав оказаться. Самоопределение, так сказать. Пора его провести до полноты.

Пропустив мимо ушей семь или восемь невероятно сладких граммофонных пластинок, мы с хозяином спустились вниз.

Его появление в это время дня было, очевидно, совершенной неожиданностью. Два взрослых хакасса растерянно выскочили из-за стола, а притулившийся на скамейке мальчик выпустил из рук книгу, и она предательски громко шлепнулась об пол.

— Что вы тут делаете?

В хозяйском окрике нетрудно было угадать недоумение и плохо загримированную упрозу.

Взрослые молча вышли. А пришибленный, с'ежившийся мальчик так и застыл над книгой.

— Это кто у вас? Работники?

— Те-то... в роде как на время взятые, на уборочный сезон, по декрету правительства. Жена больна, я загружен по товариществу... А парнишка этот, как сирота, дальний родственник. Привыкает.

Александр Алексеевич поднял с пола книгу. Это был «Всадник без головы» Майн-Рида, неведомо как засакавший в хакасские улусы.

— Ну-ну, читай! — похлопал хозяин по плечу мальчугана.

Я до сих пор уверен, что это одобрение для юного поклонника Майн-Рида было еще неожиданнее, чем само появление хозяина. Он широко раскрыл глаза и еще глубже вогнал голову в плечи. Его удивление было до того красноречиво, что Чудогашев невольно отвернулся.

Он понял, что переборщил.

---

## НЕЖДАННЫЙ РЕВНИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ

---

Лошади круто осадили у самого в'езда в улус. Дорогу перебегали ребята, мужчины, женщины... Взбудораженные и шумные. Смех, крик, галдеж.

У крайней юрты неистово трезвонил колокол.

Откуда взялся в улусе колокол?

Возница с явным удовольствием отозвался:

— Тимофей, должно, пришел.

— А это кто такой?

— Да кто его разберет. Татарин родом. Тутошный. А зовет себя иеромонахом. Допрежь этого, сказывают, конюхом болтался в монастыре в женском... Да с монахиней с какой-то спутался. До баб он, верно, что лютой. Его оттудова и поперли. Вот и шляется по степи.

При ближайшем рассмотрении Тимофей оказался коренастым хакасом в монашеском одеянии. Он весь был опутан железными веригами. На голове тряся какой-то железный колпак, на груди позвякивал чугун-

ный крест. Колокол иеромонах тоже таскал с собой. Это была, так сказать, степная церковь-передвижка.

В две-три минуты весь улус столпился вокруг бродячего проповедника. И тот немедленно начал службу — что-то среднее между панихидой и благодарственным молебном.

Содержание ее передать невысказано. Это был совершенно нелепый набор хакасских, русских и славянских слов, о значении которых едва ли догадывался и сам Тимофей.

Гораздо понятнее была его проповедь. Смысл сводился к тысячелетнему церковному лозунгу:

— Жертвуйте, православные!

Однако, православные больше смеялись, чем жертвовали. Особенной религиозностью хакасы никогда не отличались. Для них церковная служба была чем-то вроде народного зрелища — одного порядка с конскими бегами и дракой.

Да откуда им было и набираться православного духа?

Официальный историк русской церкви И. М. Покровский, умевший притуплять углы, и тот в своем исследовании «Русские епархии в XVI-XVII веках» вынужден был признать:

«Где ясашиное зимовье для сбора дани, там крест; где крепость, там часовня и церковь, а также пушка; где город, там, кроме церкви, еще монастырь и огнестрельные материалы при военном управлении».

Первый православный миссионер появился в Сибири вместе с казаком, второй — с торгашем и воеводой. Очень скоро он и сам превратился в рабовладельца.

В исторических актах XVII века, изданных Ин. Кузнецовым, приводится об'единенная жалоба русских служилых людей и ясашиных туземцев на митрополита Корнилия, которому они были отданы «из приказной избы на оброк».

«Да и у иных-де, из братьи иноземцев и у русских людей по тому ж земли и угодья многие в разных местах взяты и отданы ему ж, Корнилию митрополиту».

В общем, русское духовенство чувствовало себя в Хакасии не плохо. Недостаток религиозного чувства с успехом возмещался вековой приниженностью, своеобразной «привычкой» к насилию и поборам. Пла-

тить приходилось за все. Платить всю жизнь. Платить всем. В том числе и духовенству.

Перепадало кое-что и Тимофею.

Но на этот раз в его проповедь вмешалась местная администрация. Председатель сельсовета — бывший рабочий из Абазы — учинил допрос здесь же на месте: vB

— Ты чего это людям головы морочишь?

— Зачем морочишь? Меня просят, я и молюсь.

— Да кто тебя просит?

— Люди просят. Вон на прошлой неделе в Камышинском улусе маленький дождик вымолил...

Под протоколом он с трудом вывел:

— ераманак Тимавей.

---

## УЛУС БЕЗ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

---

Это был самый неприглядный улус из всех, какие я видел во время своих поездок по Хакассии.

Кто выбирал для него место?

Чуть подкошенная стена высоких безлесных холмов, оттолкнувшая в сторону Абакан, здесь на несколько десятков шагов отступила от реки — ровно на столько, чтобы на самом берегу можно было поставить четыре юрты.

Попадать в улус оставалось только с обрыва или по воде.

В самом улусе — беспросветная нищета. В юрте, в которой я остановился, не лежало даже седла. Там вообще ничего не лежало, кроме небольшой кучки полуистлевшего тряпья.

Но я был гость и женщина с лицом совершенно высохшей мумии, придерживая одной рукой голого, неистово кричавшего ребенка, другой разводила перед юртой костер. Когда огонь уверенно пробежался по хворосту, она ушла к соседям за котелком, чтобы вскипятить воду. Своего котелка у нее не было.

Ребенка взял муж и бережно прижал к груди. Но ребенок не хотел угомониться и все так же неистово кричал. Растерянный босой мужчина, все крепче и крепче обнимая сына, бегал по двору. Ветер трепал

его черные волосы, широкую полинявшую рубаху, равные холщевые штаны...

С тех пор прошло восемь лет, но я помню эти минуты во всей их жуткой отчетливости. Громадные обнаженные горы, как приговор, нависшие над улусом... Потемневшее небо, по которому беспокойным, испуганным косяком метались лохматые тучи... Ветер...

За юртой колотился о берег потемневший Абакан...

Я не знаю — до чего можно было бы дойти, глядя на этот улус, не будь уверенности, что все это не надолго. Пройдет еще год-два и тогда... сколько бы лет я ни прожил еще на земле, я такой картины не увижу.

За чаем собралась вся семья: двое взрослых и четверо ребят. Я разделил детям сахар. Они так долго вертели его в руках, что он, в конце концов, почернел. Они не знали — что с ним делать. Зато мой зачерствевший хлеб они ели, как сахар, — маленькими кусочками, запивая чаем из больших, невероятно грязных деревянных чашек.

— В чем дело?

Хозяин, добродушный человек с угрюмым именем Бюрджик — волчонок, знал по-русски приблизительно столько же, сколько я — по-хакасски. Мы выпили с ним чужь ли не весь котелок, прежде чем я начал кое-что понимать.

О сельсовете Бюрджик не имел представления. Зато в разговоре часто поминался какой-то Муклай. Но и о нем мне удалось узнать только то, что если бы на четыре здешних юрты разделить хотя бы четвертую часть того добра, которое лежит в одной муклаевой юрте, то более счастливого улуса не было бы по всему Абакану.

Наезжал еще в улус какой-то старичок из Минусинска. Уж не тот ли, с которым я когда-то встретился в тальниках на берегу Уйбата?

Короче говоря, улус был целиком в руках бая. Муклай был настоящим и единственным хозяином этих четырех юрт, не имевших даже названия.

Самое жуткое было в том, что Бюрджик много положения себе не представлял:

— Нельзя наточить того, чего не точат; нельзя изменить того, чего не изменяют.

Здесь, как в старину еще, бедность и ум считались

понятиями, не встречающимися в одной юрте. Только в стране, сохранившей горячие следы родового уклада, могла так долго жить поговорка: в одном окуне нет ухи, — в бедном человеке нет ума.

Зато слова «ум» и «богатство» звучали, как два разных словесных рисунка одного и того же понятия.

Я хотел расплатиться с хозяином за чай. Он, конечно, отказался. Тогда я подарил ему ненужные мне таежные сапоги.

Очевидно, с этого нужно было начать. Через минуту у нашего костра собрался весь улус. Сапоги переходили из рук в руки. Я стал героем дня. Швыряться такими подарками здесь мог или богач, или юродивый. И тот, и другой пока еще были в почете.

Мы разговорились.

Прежде всего, нашелся сельсовет. Но председателя его никто в лицо не видел и по фамилии не знал. Муклай оказался действительно баем из соседнего улуса — человеком одной кости. Он взял на себя все заботы по обязательствам своих сородичей перед советской властью. Они рассчитывались уже не с сельсоветом, а с ним.

Так началось мое знакомство с неписанной конституцией Усть-Таштыпского сельсовета. А вслед за этим началось знакомство улуса с настоящей советской конституцией.

Но скоро порывистый ветер метнул в сторону костер и первые крупные капли дождя зашипели в горячей золе. Пришлось перейти в юрту Бюрджика. Перешли все.

В юрте сумрачно, глухо. С почерневшей лиственничной коры густыми хлопьями свисает копоть. Старые бревенчатые стены отдают гнилью. С тихим звоном гаснут в очаге рассыпанные угли. И было почти видно, как в юрте, вместе с мягким пеплом, остывала человеческая радость.

Здесь даже тосы выглядели нищими, закутанными в рубища. Их тряпки были черны от пыли, копоты и высохшей сметаны — лучшей пищи богов, которую могли им предложить в этой юрте.

— Ты видел улусы на Ташебе, на Уйбате, на Камыште, — начал, наконец, Бюрджик. — Ты видел охот-

ничьи улусы на Бае. Но таких, как наш, ты еще не видел. Смотри и пиши в свою бумагу...

Старик в полушубке, накинутом прямо на голые плечи, забормотал, подбрасывая в занимавшийся огонь прутья, как искупительную жертву:

— Ради жилищ для своего народа! Ради травы, чтобы росла на черной земле! Ради хлеба, чтобы рос для нас! Чтобы не дули на степи ветры! Чтобы не знала нас беда! Чтобы не расплескивалась полнота! О, тэр, небо!

— О, тэр! — повторила, по древнему чину, юрта.

Но огонь в очаге разгорелся и люди повеселели. Разговор, начатый у костра, развертывался дальше. И гот же старик бросил:

— Вот приедет наш комсомольский сын! Он даст дуракам с жаром!

Юрта окончательно развеселилась.

— Самый несчастный человек в улусе, — шепнул Бюрджик.

Я посмотрел на старика с уважением. Быть самым несчастным человеком в таком улусе — это что-нибудь да значит!

Говорят, что старик только и знал в своей жизни, что ошибался. Ошибался в своих расчетах, в надеждах, в людях.

Комсомольский сын, о котором он вспомнил, был его младшим сыном, первым из улуса ушедшим в Красную армию. И вот недавно старик получил от него карточку и письмо, читать которое ездил в Аскиз. Сын писал, что он теперь комсомолец и скоро вернется в улус наводить порядок.

Письмо, а еще более того карточка уверили старика, что его комсомольский сын будет посильнее всякого Муклая.

В улусе смеялись. Старик стоял на своем.

Это был единственный случай в его жизни, когда он не ошибался.

---

## ФИЛОСОФ СВОЕГО КЛАССА

---

На обратном пути в Усть-Абаканск я решил заехать к Саттыху. Нельзя было не побывать у человека, кото-



PLATE

Illustration of a man in traditional clothing smoking a pipe.



ПАСТУХ

Рисунок хакасского художника-самоучки Г. Атынина

рого знали во всех улусах — от пригородного Сапоговского и до таежного Усть-Чуля, в юрту которого заглядывали крупные ученые и знаменитые областники. В Усть-Абаканске и в Аскизе его звали хакасским Толстым.

Юрта Саттыха была положительно юртой противоречий. Неевропейски пестрая национальная рубашка на хозяине и... его же вполне европейский костюм в углу на гвоздике. Старомодные чопорные кувшины и тазы, дедовские, серебром окованные седла, бесчисленные сундуки, а в сундуках... прекрасная библиотека. На столике баранина, айран, паттхэ — сладкая мешанина из муки, сметаны и масла и... дорогие шоколадные конфеты к чаю, коньяк.

Говорил Саттых, как истый кочевник, не торопясь, полузакрыв раскосые глаза и мерно покачиваясь всем корпусом. Но говорил так, как будто бы читал давно знакомую книгу.

И все-таки во всех этих противоречиях как-раз не было никакого противоречия.

Мы говорили о камланьи. Кстати, я знал, что накануне, когда у него заболела дочь, он послал пару добрых коней за врачом в Минусинск и лучшего своего скакуна — в подтаежный улус за шаманом. Говорят, что шаман заработал не меньше врача.

Саттых сначала ответил на мой вопрос вопросом же:

— А вы верите в симпатические средства? Для меня камланье — одно из таких средств.

Но потом стал откровеннее:

— Я не намерен отрывать своей жизни от жизни своего родного аала.

Саттых словно подчеркивал слово «аал». В хакасском языке, действительно, нет «улуса». Этот термин принесли с собой русские. А относительно русских у Саттыха была своя точка зрения:

— От нашего аала до Минусинска пятьдесят верст. Но жизнь устроила так, что от него до Монголии было ближе, чем до Минусинска. Кто в этом виноват? Недаром хакасы русских называют «хазах», то-есть казак. Вы слышали сказки о Ханза-пиге? Их десятки...

Так в одной из них Ханза-пиг поет:

Отдамся я русским казакам —

И у меня будут нить тогда ребра.  
Отдамся я русским казакам —  
И у меня будут нить позвонки.

— Вам не кажется, что русский народ, именно народ, а не правительство, не повинен в национальном угнетении? А тем более после революции, когда...

Саттых не дал мне договорить.

— Как вам сказать? По нашей хакасской поговорке, всякая лиса свой хвост хвалит. А по английской — всякий народ достоин своего правительства. Однако, я думаю, что хакасский народ еще не достоин русского правительства...

По его губам скользнула чуть заметная усмешка.

Но Саттых быстро овладел собой. И снова принялся разматывать мягкую шелковую нить своих неторопливых фраз. Он загадывал мне загадку: кто не имеет свояка? — Собака. Кто не имеет сердца? — Судья. И тут же добавлял, что речь идет о русском судье. Он толковал мне сны: увидеть русского — заботеть горячкой, увидеть медведя — встретить чиновника, увидеть попа — никогда не видеть счастья. Но Саттых умолчал, что видеть шамана — значило тоже самое. Он только улыбался, этот хакасский Мартын Задека — никем неизданный толкователь снов.

— А что сейчас? — спросил Саттых. — Вы говорите о самоопределении, а где оно? Дайте его нам! Вы не можете дать. Ибо нельзя дать то, чего нет. Все равно, все делается по русской указке. Вы обманули нас. Взяли несколько неграмотных хакассов в Усть-Абаканск и назвали это коренизацией. Хороша коренизация!

В это время через порог юрты перешагнул типичный уроженец Прибалтики, облаченный в белый халат. Эстонец подал хозяину на подносе тубик только что спрессованного масла.

Саттых взял поднос и придвинул мне:

— Попробуйте! Моего завода.

У Саттыха на самом деле был маслозавод. Молоко ему поставлял весь улус. Он вообще ставил свое хозяйство на широкую ногу. Породистый и улучшенный скот, теплые скотные дворы, ветеринарный надзор...

Однако, и здесь было какое-то противоречие. Всякое большое помещичье хозяйство естественно стара-

лось выйти к водной или железнодорожной магистрали. Саттых, наоборот, — ушел от нее. Когда купчиха Баландина затеяла постройку Ачинск-Минусинской дороги и выяснилось, что трасса ее пройдет мимо улуса Саттыха, Саттых передвинулся на Уйбат. За ним откочевал на Уйбат и весь улус.

Но и это противоречие было только кажущимся. Лидер молодой хакасской буржуазии, — не хакасский Толстой, а хакасский Рябушинский, — пытался сочетать элементы капиталистического хозяйства с элементами феодально-родового уклада. Я, кстати, знал, что Саттых в 1905 и 1917 годах играл крупную роль в буржуазно-националистическом движении, пытался даже объединить в одно целое все тюркские племена Сибири.

— Скажите, Саттых, почему у вас на заводе работает эстонец, а не хакасс?

— Хакасс не выдержит. Для него это рано. Хакасс должен быть пастухом. Вообразите себе, что я посадил перед своей юртой кокосовую пальму. Что с ней будет через полгода? Теперь представьте себе хакасса в литейной мастерской или в угольной шахте. Будьте уверены, — он завянет. Не забудьте, что и сам он, и его отец, и его дед всю жизнь провели на воздухе, питались бараниной и толканом. Для него фабрика — то же, что коновязь для косячного скакуна. Хакассу нужно сохранить его степь, его привычный жизненный уклад, если вы хотите, чтобы он жил.

— А вы, Саттых, знаете опыты Мичурина? Помому, если создать известные условия, — а они уже создаются, — то «пальма» прекрасно привьется и в хакасских степях. Вы еще увидите, как около вашей юрты вырастет даже не «пальма», а целая «кокосовая роща»...

Саттых с усмешкой покачал головой:

— Это невозможно. Хакассия пойдет не этим путем. Вы видели около нашего аала старую канаву? По легендам, это есть тропа, протоптанная богатырским конем. Теперь уже забытый богатырь по этой тропе когда-то спускался с горы Сахчах к Енисею, к горе Кюню-таг, ниже устья Биджи. На самом деле, это след чудских каналов. И есть еще легенда, что этот богатырь вернется к нам. Вернется, и мы оживим тропу.

Снова около аала — аала, у которого сейчас нет никаких перспектив, зазеленеет орошенная степь. Только не мешайте нам...

Здесь мне хочется сделать небольшое отступление. Через несколько лет после нашего разговора древний канал действительно ожил и оросил несколько тысяч гектаров выжженной солнцем степи.

Но оживил его не Саттых и не те, на кого он рассчитывал. Саттых опять откочевал. На этот раз навсегда из пределов Хакассии. Но улус за ним больше не пошел. Саттых откочевал со своим классом. Улус же «без всяких перспектив» стал колхозом имени Сталина.

---

## ЭПИГРАФ К ЭТОЙ ГЛАВЕ

---

Обычно эпиграф начинает главу. Но уж так ли это обязательно? И не на месте ли он будет в данном случае, именно здесь, в конце главы?

«Только теперь стало для всех очевидным, что национальная буржуазия стремится не к освобождению «своего народа» от национального гнета, а к свободе выколачивания из него барышей, к свободе сохранения своих привилегий и капиталов.

Только теперь стало ясно, что освобождение угнетенных национальностей немислимо без разрыва с империализмом, без свержения буржуазии угнетаемых национальностей, без перехода власти в руки трудовых масс этих национальностей».

«Таким образом, Октябрьский переворот, покончив со старым буржуазным освободительным национальным движением, открыл эру нового социалистического движения рабочих и крестьян угнетенных национальностей, направленного против всякого, — значит и национального, — гнета, против власти буржуазии, «своей» и чужой, против империализма вообще» (И. Сталин. Октябрьский переворот и национальный вопрос).

---

## НА СЕВЕРЕ ХАКАССИИ

---

### ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ

---

На юге — Абакан, здесь на севере — Белый и Черный Июсы. Так же, как и там, эти реки от верховьев до устья овеяны напевными легендами и преданиями старины, и так же в их долинах сосредоточена вся жизнь улусов. Разве только рельеф на севере сгущеннее и это наложило какой-то свой отпечаток на людей и на их поселки.

И здесь когда-то разыгрывались трагедии, решавшие судьбы азиатских народов. И здесь потом застывали на грани бронзового века внуки безымянного народа, загнанные сюда русскими казаками и более удачливыми сородичами. Остановились они на Июсах, наверное, потому, что тут глуше горы, ближе тайга, теснее речные долины. В любом направлении дороги и тропы скатываются с увала на увал, пересекают реки, кружатся в цепких болотных кустарниках.

И не случайно здесь гораздо резче, чем во всей остальной Хакассии, сказались следы гражданской войны. На десятки километров кругом не найти такой тропы, которой не топтали бы бандитские кони. Здесь побывал и полковник Олиферов, и под'есаул Соловьев, и кровавая бандитка Псарева, коловшая глаза и резавшая уши пленным, и доморощенный бандит-хакасс с показательной фамилией — Кулаков.

Об этих годах уже переходят из юрты в юрту перетертые временем воспоминания, похожие на сказку.

И так жаль, что сейчас мало кто интересуется историей улусов! Эпоха так перекраивает карту Хакассии, что некоторых из них и не найти на тех местах, где они значились по картам 1920 года.

Есть сейчас в совхозе «Красный Июс», на южной его границе, самая рядовая, занумерованная ферма, которая ничем не отличается от других таких же точно ферм. А в 1920 году здесь был Кобяковский улус — один из тех, которые отразили на своих запутанных проулках всю историю гражданской войны на севере Хакассии.

Это был сравнительно большой улус. Были в нем юрты разных костей, и классовое расслоение здесь сказалось совершенно отчетливо. В эпоху колчаковщины бай Иван Егорович Кобяков, из кости Пюрют, и Николай Копчегашев, из кости Частых, создали здесь организацию, открыто заявившую о своей классовой направленности. Однако, и родовые пережитки хранились еще по юртам. Еще жило какое-то врожденное почтение к своему роду и его старейшине. Не зря же, когда белогвардейцы ушли из Хакассии, Иван Егорович Кобяков скрылся у своего бывшего батрака и однокостника Питке Рудакова. И тот терпеливо прятал его до тех пор, пока не налетел на продармейцев. Тогда впервые на улицах улуса загремела перестрелка и один из продармейцев был убит. Кобяков сбежал; вместе с ним простился с улусом и Питке. Как верная собака, пошел он за своим хозяином.

И долго бродил бывший батрак, а теперь бандит Питке по тайге вместе с Иваном Кобяковым. Потом он перешел к Кулакову.

И вместе с Кулаковым уже в один из летних дней 1922 года Питке появился, незванный, на улицах Кобяковского улуса. Верный своему новому хозяину, он покорно и безжалостно зарубил своих братьев по классу — Михаила и Семена Копчегашевых.

Третью жертву кровавой расправы — Егора Копчегашева, дядю убитых, вывел из юрты сам Кулаков. Рядом с ним поставил его подростка сына — Халтара.

Допрос был короток:

— Есть оружие?

Егор молчал.

Кулаков выпустил пулю в старика.

Пуля пробила грудь навывлет. Но приговоренный остался стоять, чуть прислонившись к стене юрты. Бандит с проклятием разрядил винтовку еще раз и Егор опустил у крыльца на землю к зарубленным племянникам.

На его место поставили Халтара.

— Будешь отца жалеть?

Липкая кровь убитых расплывалась по траве. Жужжали мухи.

— Тебя спрашивают, или нет? Будешь отца жалеть?

И Питке поднял свою винтовку. Темное дуло ее взглянуло в глаза Халтару...

Вдруг бандит почему-то передумал...

Халтар остался жить.

---

## СМЕРТЬ ТОВАРИЩА СЮСКЮ

---

Но жить остался и Иван Егорович Кобяков. Через два года он вышел из тайги и сдал оружие. Его простили.

Вернулись и некоторые другие.

Жизнь входила в свою колею. Попыталось войти в свою колею и байство. Разбитое на бандитских тропах, оно свертывало на испытанную дорогу родового господства. Не оно ли подсунуло бедноте лозунг: кто богатый, пусть тот и служит! Баю эта нагрузка не казалась тяжелой. Жадно и цепко тянулся он к власти.

Сюскю — батрак Чиссанабара Душипина — нечаянно убил хозяйскую лошадь. И вот Чиссанабар вместе со Спириным Хожомом и Спириным Алексеем целый день пытали Сюскю. По старому кочевому чину кто-то из них набросил ему на голову веревку и все по очереди так ее закручивали палкой, что Сюскю терял сознание. А потом били батрака арканом и подбрасывали к потолку. Подбросят и разбегутся.

Впрочем, Сюскю тоже остался жить, искалеченный и больной.

Все это происходило в юрте Хожоха Спирина, все об этом знали и, однако, все оставалось попрежнему. Сельсовет считал, что история Сюскю — рядовая ис-

тория, которая, в конце концов, не стоит того, чтобы из-за нее поднимать какой-то шум. В сельсовете сидели «свои».

И все-таки шум поднялся было...

Тогда Сюсю оказался убитым в какой-то нелепой перестрелке случайной пулей.

Случайной ли?

---

## П Е Р В Ы Й . Б О И

---

— Что такое школа? И кому нужна ваша школа? Йо! Мало мы платили налогов!

В самом деле, для чего Спириным или Душининым — верхушке улусов — школа. Сами они достаточно грамотны для того, чтобы разбираться в своих классовых интересах и в газете. А дети их учатся в Минусинске или в Красноярске. Остальным Душининым и Спириным — подавляющему большинству в улусах — достаточно было несложной науки ухода за скотом.

Чиссанабар брюзжал, уверенный в своем авторитете и в молчаливом сочувствии своей кости.

Но вышло так, что школа стала фактом. Первой в этом уголке северной Хакассии появилась Мало-Спиринская школа. Появилась с помощью окружных организаций и своей улусной общественности. Всем улусом вывозили из школы заброшенного тогда рудника Уленя парты, на весь улус разложили содержание учителя. И учитель приехал. Комсомолец.

Методика преподавания в улусной школе базировалась тогда на фантазии. Наглядные пособия изобретались на месте. Учебники попадали откуда придется. Молодой педагог тут же на уроках переводил их с русского на хакасский и обучал сразу на двух языках.

Получалось немного путанно, но интересно. Главное, у молодого учителя было самое необходимое педагогическое качество — здоровое классовое чутье. Этого качества, в соединении с некоторой грамотностью, для учителя в те тяжелые времена было вполне достаточно.

Каждый день школьная дверь впускала в класс од-

ного за другим не только ребят, но и взрослых. Степенные хакасы входили в комнату, рассаживались по углам и, ни слова не говоря, следили за каждым движением учителя.

И вот в улусах ветер подул с другой стороны.

— Почему школа в Малом Спирино, а не у нас? Что такое Малое Спирино?

Та же история повторилась и с другой школой.

Первый генеральный бой разыгрался вокруг школы улуса Хазын-гюль — Березовое озеро.

Александр Николаевич Спирин — бай, побывавший случайно в партизанах, организатор машинного товарищества и делец, — возглавил поход. Он сам, Чиссанбар Душинин и Абдин — три крупных бая — решили во что бы то ни стало перевести школу из Березового озера к себе в Азах-Сот. Школы им даже показались мало. Заодно они потребовали перевести сельпо и сельсовет.

Сход собрали в улусе Чоб'ях — в одном из тех улусов, о которых историю писать уже поздно: на его месте сейчас остались только полусгнившие бревна да щебень. Сам улус давно расселился по новым колхозным центрам и совхозам.

Давно не было на севере Хакассии такого схода. Человек триста с'ехалось в Чоб'ях. Триста человек из разных улусов. Самый большой в улусе дом Арыштаева Петкюя был набит народом, как кисет запасливого охотника — табаком.

Председательствовал сам хозяин дома. Рядом с ним сидел Арыштаев Алексей, Спирин Алексей и... комсомолец-бедняк Спирин Михаил — досадная заноза в полнокровной туше байского президиума.

Обсуждали вопрос, как водилось, не только в доме Арыштаева, но в каждой юрте. Даже просто на улице. Люди уходили с собрания, пили чай, обедали, снова шли на собрание и снова пили чай или айран.

Чаще всех выступал Алексей Спирин. Он говорил долго и не глупо. Требовал концентрации культурных сил, очевидно, намекая на себя и своих друзей, которых в Азах-Соте водилось не мало.

Возражал, главным образом, Спирин Михаил. Возражал потому, что Хазын-гюль был естественным центром здешних улусов, потому что там больше школьни-

ков, больше населения и есть, наконец, комсомольская ячейка.

Большинство собравшихся слушало молча. И только изредка с места неожиданно, как горох по лестнице, скатывались реплики.

Тогда, если уж очень разгорались страсти, спорщики выходили на улицу заканчивать дискуссию:

— Йо! Нашли кого слушать. Сопливого мальчишку. Алексей ему еще покажет. Алексей! Человек, переднюю полу которого топчут дети, заднюю полу — скот.

— Пусть провалится ваш Алексей вместе с детьми и со скотом.

Молодежь посильно агитировала за своего вожака.

Но в конце концов скандал разразился и в самом арыштаевском доме.

Алексей Спирин не выдержал и крикнул, как привык покрикивать у себя в улусе:

— Школа должна быть у нас! И будет!

— Не будет! — ответил Михаил.

Враги поднялись из-за стола и стали друг против друга. Кто первый отведет налитые ненавистью глаза?

Собрание гремело:

— Будет!

— Не будет!

Спирин Алексей сел первым. Тогда поднялся Петкюй, подавляя собрание своей плюсовой шубой, перехваченной широким кушаком, стоившим целую корову. Он попробовал унять расходившиеся страсти.

— Сними кушак! — крикнули с места.

И впервые вышло так, что из трехсот человек, собравшихся на сход в Чоб'яхе, только тридцать голосовали за баев.

Тогда Спирин Алексей, Душинин Чиссанбар и компания потребовали занести в протокол их особое мнение.

Миша растерялся. Он еще не знал, что это значит. Но махнул рукой:

— Записать, так записать. Все равно поеду в волость драться.

И поехал. Сразу же с собрания. Скакал, не оглядываясь, прижимая к боку папку с дорогим протоколом.

Следом за ним на своем иноходце мчался Спирин Алексей.

✓ Но комсомолец победил и в Чебаках. Его поддержал секретарь волостной ячейки — тов. Яковлев.

Так случилось невероятное: бай отступил перед нищим однокостником, на которого он раньше даже не смотрел.

---

## Х А Л Т А Р   К О П Ч Е Г А Ш Е В

---

Из абаканских степей поезд перебросил меня на раз'езд Красный Июс, прекрасно дополнивший своим именем исстари известные Июсы — Белый и Черный.

Отсюда на паре лошадей было уже не трудно добраться до Усть-Фыркала — полурусской, полухакаской деревни.

Усть-Фыркал в этот день был особенно оживлен: Суббота, — комсомольское собрание. К улусу со всех концов тянулись верховые — по два, по три человека, в одиночку.

Возница мой ткнул кнутовищем вперед:

— Наш едет. Из Кобяковского улуса. Халтар.

Но этот Халтар уже ничем не напоминал того Халтара, который когда-то стоял в своем улусе перед дулом бандитской винтовки. От прошлого осталось немного. Да и зачем ему было оставаться? Мало светлых воспоминаний сохранила память молодому партию.

Незадолго до памятного дня расстрела умерла его мать и два брата. Тогда по улусам голодной собакой бродил сыпной тиф, скашивая человека за человеком. семью за семьей. А там расстреляли отца. А там, когда Халтар убежал в Усть-Фыркал, бандиты до тла сожгли его избу, юрту и амбар.

И несколько лет подряд остатки семьи Копчегашева кочевали между родным улусом и Усть-Фыркалом.

Понемногу Халтар приучился работать на земле. По воскресеньям, потихоньку от зоркого байского глаза, к нему на пашню выходила улусная молодежь и здесь неорганизованной, но дружной ячейкой метали и сгребали сено, распахивали черные борозды небольшого Копчегашевского надела.

Три года бандиты ходили за ним по пятам. Три года Халтар с винтовкой за плечами носился верхом из

улуса на комсомольские собрания в Усть-Фыркал и с комсомольских собраний в улус, пока, наконец, там не стало по-настоящему утверждаться комсомольское ядро.

Оно было подлинным детищем Халтара, первым делом его молодой жизни.

Вот он сидит сейчас на заседании ячейки, как всегда молчаливый и упорный.

А ячейка шумит. Кто-то поднял вопрос о кулацких хозяйствах, и комсомольцы долго не могут угомониться. 1925 год был еще тем годом, когда партийные и комсомольские ряды Хакассии были порядком засорены кулацким отребьем. Не потому ли и шумела так ячейка? Не слишком ли близко зацепил вопрос чьи-то затаенные интересы?

Так прямо и поставил вопрос Миша Спириин.

Шуму прибавилось.

Наконец, председатель предложил:

— Давайте выберем комиссию. Пусть обследует кулацкие хозяйства по нашим улусам. Кого выберем?

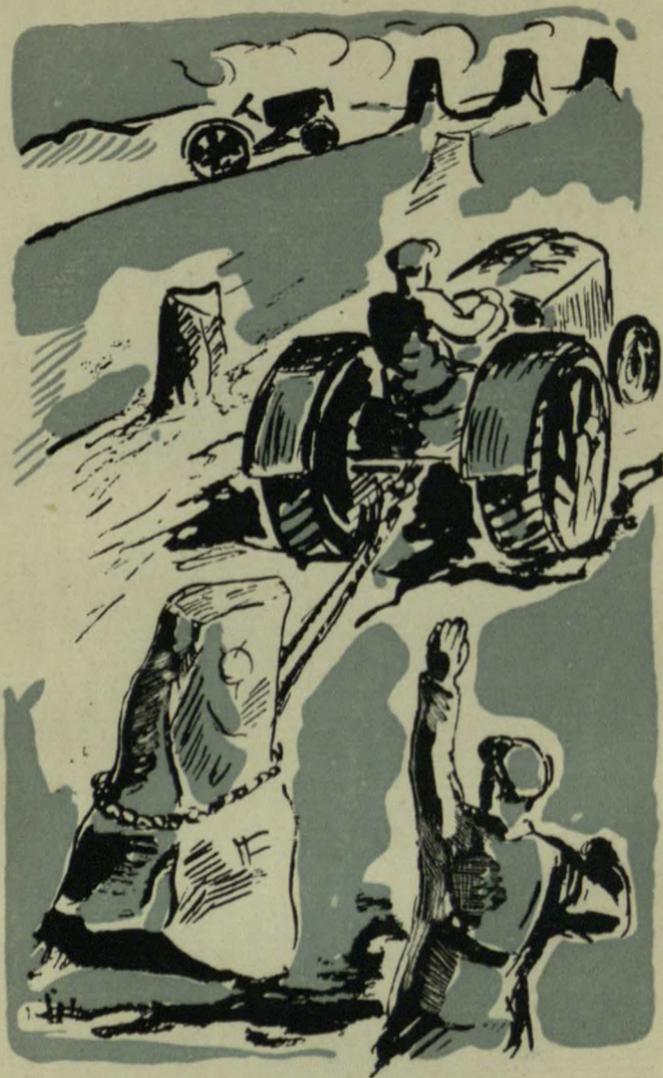
Никто не рискнул назвать кандидата. Но все, кто был на собрании, — большинство с уверенностью, а кулацкое меньшинство с затаенным страхом, — взглянули на Халтара. В нем уже угадывался крепкий, негнущийся большевик.

И вопрос был решен без голосования.



В П Е Р В Ы Е В С Т Е П И







## ОСЕДЛАЯ ПШЕНИЦА

---

### С Е Л О   С П Р О Ш Л Ы М

---

Чем ближе к Аскызу, тем заметнее меняется степь. Все ближе подступают к Абакану горы. Все еще по их ребрам щетинится кустарник. Все выше увалы. И кажется, — будто степь начинает горбиться.

Но вот и Аскыз. Село с прошлым.

Лет сто тому назад енисейский губернатор Степанов, зачисленный купеческой общественностью в ведомство либералов, определил коротко, но выразительно:

— Аскыз, — это дом попа, кабак и церковь.

Уже по одной этой фразе можно было судить об исторической миссии Аскыза. Действительно, в эпоху наступления промышленного капитала русское правительство сделало это село центром своей руссификаторской политики. Здесь обосновалась так называемая Аскызская степная дума соединенных разнородных

племен, во главе с выборным родоначальником. Впоследствии думу сменила инородная управа, а родоначальника — голова.

Что это были за родоначальники и головы — сказать не трудно. Хакассские баи, водившие когда-то своих сородичей под стены Красноярска против воевод и служилых московских людей, теперь предпочли по-азиатски цепко эксплуатировать этих самых сородичей в тесном союзе с достойными преемниками московских воевод. Царское правительство, узаконившее родовое обычное право, любезно предоставило для этого неограниченные возможности. И национальную рознь хакассских и русских верхов сменило трогательное классовое единение. Баи отправляли в Петербург отборных степных жеребцов под дорогами, окованными серебром чепраками и седлами, а Петербург слал в степи шитые кафтаны и царское спасибо. Желанным гостем байской юрты стал полицейский пристав.

Особенно памятен аскызцам родоначальник Ефим Катанов, совмещавший в своей особе одиннадцать должностей — родоначальника, учителя, письмоводителя, содержателя гоньбы и пр., и пр., и пр. Этому человеку ничего не стоило завернуть к себе во двор проезжавшего мимо хакасса, избить его, вытолкать на улицу, а лошадь оставить себе.

Он-то и взял на себя в 1877 году почетную миссию крестителя хакассов.

На торжество прибыл архиерей, полиция, купечество. На их глазах Ефим Катанов загнал в реку Аскыз сразу три тысячи человек.

Впрочем три тысячи значилось только по официальным данным. В действительности крещеных в этот день было несколько меньше. В улусах до сих пор еще есть старики, которые на вопрос:

— Как тебя зовут?

отвечают:

— Один-то раз макали, сказали — Васькой будешь, другой-то раз макали, сказали — Васькой будешь. Зови, друг, как хочешь!

Так Аскыз становился центром полицейско-байской «цивилизации».

Прежде всего, это сказалось на самом Аскызе. К началу XX века он стал обычным большим селом русско-

го типа. Базарная площадь и церковь. В центре — бакалейные лавки и пятистенники, на окраине — куча похожих одна на другую лачуг, где только подброшенный к небу колодезный журавль да раскидистый тополь торчали межевыми знаками над тихим убожеством заплесневевших крыш.

Внешне и в 1926 году Аскыз выглядел почти также. Только если под'езжать к нему вечером, то за добрый десяток километров можно было догадаться, что темный ворох деревенских избушек смотрит в степь не керосиновой копилкой, а электрической лампочкой. У самого в'езда в Аскыз незаметно выросла электростанция с мельницей. Прямо на широкую пыльную дорогу швыряет она через свои гостеприимные двери разворошенные снопы ослепительного света.

В этом небольшом, новеньком доме есть все, что нужно — от мраморной доски распределителя до приера. С утра до ночи передергивается мелкой дрожью только-что сколоченный элеватор.

На пороге группа хакассов в своих живописных костюмах лениво перебрасывается короткими обрубленными фразами, — живые обломки феодального средневековья на бревенчатом фоне деревенской электростанции эпохи первых завоеваний Октября на туземных окраинах СССР.

В 1926 году Аскыз был административным центром громадного района, растянутого на 150 километров в длину и на 110 в ширину. В районе числилось 95 процентов коренного населения и 90 процентов неграмотных.

Раннее летнее утро. На ступеньках риковского крыльца пока только два собеседника.

— Рик так рик! — покачивает лохматой головой один. — Пускай будет рик! По-мне, называй как хошь. Власть, она не нами установлена. А зачем дома отбирать? У Никиты Ивановича, скажем. Мешал он кому? Жил мужик справно, тихо, хорошо...

— А что хорошего? — лениво возражал второй. — Плыла его жизнь, как лебедь сытая по озеру. Плывет и собой любит. А толку от этой птицы? Разве взглянет кто из интересу...

За дверью было многолюднее. В коридоре у пестро-

го плаката сгрудились хакасы. Плакат издан на ойротском языке, родственном хакасскому, и вот уже целый месяц вызывает почтительное изумление. Случайный грамотей по складам разбирает подпись и после каждого слова восторгается:

— Про нас пишут, друг! А?

В комнатах готовились к отчету. Копались в протоколах перевыборной кампании. Среди них попадались изумительные вещи. Приезжий уполномоченный с явным интересом снимал копии. Секретарь райкома, бывший мало-спиринский учитель, постигавший когда-то тайны преподавания хакасского языка по русским учебникам, бережно разглаживал перед ним помятый документ:

«Выписка из протокола № 3 собрания делегатов Верхне-Кындырлинской базы. 3 февраля 1926 года.

Вопрос 3. Разное.

а) О предстоящих перевыборах сельсоветов. Докладчицы: Сюльберекова, Сандыкова, Чебакчинова.

В виду того, что беднота еще чувствует угнетенность и подавленность от богатых, а наша делегатская база неопытная, просить члена ВКП принять участие на выборах. Просить уполномоченного по перевыборам тов. Савицкого приехать к нам на предстоящие перевыборы».

Документ, безусловно, любопытный. Но по-настоящему оценить его значение могут только люди, знакомые с работой среди женщин в улусах.

Речь идет не о забитости. Статьи о хакасских женщинах, аккуратно появлявшиеся раз в год — 8 марта — в минусинской газете, больше смахивали на анекдоты. Правда, по запутанному ритуалу юрты, жизнь хакасски с детства была оплетена железными путами средневековых предрассудков. Доходило до того, что она не могла сделать полного круга вокруг очага, никогда в жизни не называла по имени свеюра и старших братьев мужа, не имела права с ними разговаривать. К девушкам не свагались; их карамчили — воровали. Но, в конечном счете, вопрос решался не ритуалом, а экономическим положением женщины в семье. Оно же было таково, что не жена зависела от мужа,

а скорее он от нее. Хакаска была не только, так сказать, юртоправительницей, не только кормила, одевала, обувала семью, — она сплошь и рядом ходила и за скотом — основой хакасского хозяйства. И если стоит говорить о забитости, то не о специфической женской, а о забитости классовой и национальной, о забитости батрака и батрачки, бедноты обоих полов.

Остатки феодально-родовых отношений в улусном быту, свалившие все хозяйство на женские плечи, больше всего сказались в неимоверной отсталости женщины, в ее полной оторванности от общественной жизни. Русскую женщину не пускал на собрания муж, хакаска не шла сама.

И женработу в улусах пришлось ставить не совсем так, как ее ставили в обрусевших деревнях — в Аскызе, в Усть-Еси. Обрусевшие служили, если так можно выразиться, опытным полем.

Таким была и Верхне-Кындырлинская база. Здесь вооружался поход против пережитков родового уклада в быту, пережитков особенно устойчивых и живучих.

Председатель рика вспомнил, как на прошлых выборах в результате байской агитации пустовали сборни и школы в дни предвыборных собраний, — тогда общий разговорный язык с баем для батрака-хакасса кое-где еще был понятнее общего классового языка с батраком-русским. И вот волисполком додумался послать в улусы милиционеров. Уже на другой день с утра в степи можно было видеть совершенно изумительные кавалькады: впереди милиционер, а за ним растерянная группа избирателей.

Это из области перегибов. В 1926 году жанровых картинок такого порядка уже не было. Зато певучий байский шопоток на выборных собраниях слышался достаточно отчетливо.

Райком партии и райисполком мобилизовали свои силы. Их небольшой дом на главной улице Аскыза давно уже напоминал полевой штаб подвижного кавалерийского отряда. Целый день менялись у забора усталые кони. Не раз и не два скакал отсюда в степь всадник с кожаной сумкой, битком набитой пакетами и литературой. Далеко за полночь затягивались заседания бюро райкома и президиума рика.

Так Аскыз на глазах всего района превращался из центра полицейско-байской «цивилизации» в боевой штаб культурной революции в улусах, революции — национальной по форме, социалистической по существу.

---

## З О Л О Т О Й      У З Ю М

---

На другой день утром мы целой экскурсией были на плотине, перегородившей беспокойную, быструю речку Аскыз. Вода, как попавший в засаду таежный зверь, бешено металась перед деревянными шлюзами в своей бессильной ярости.

Но кружиться ей приходилось не долго. Прыжок, другой... и вот она бежит, покорная и тихая, задами деревенских огородов на первую в Хакассии турбину электростанции и дальше — на свеж вспаханные поля Узюмской степи.

У хакаской мелиорации есть свое громадное историческое прошлое, но оно затерялось в пыли веков, как затерялось даже имя этого народа. От прошлого остались только древние, заросшие травой канавы.

Все попытки позднейших мелиораторов не приводили ни к чему. Уж очень по-детски подходили они к решению задачи.

Несколько десятков лет тому назад на Верхнем Аскызе Кольчик Майнагашев хотел оросить свои поля бассейнами. Когда из этой затеи ничего не вышло, он долго рассчитывал с карандашом в руке, — нельзя ли приспособить к этому делу пожарную машину.

Другой Майнагашев через перевал Арных-биль пытался проводить канаву. Но без технических познаний, без опытного руководства он только скомпрометировал идею мелиорации.

Один из доморощенных аскызских мелиораторов несколько лет посылал в поле таких же, как он сам, «инженеров» с палками и корытцами — определять падение воды.

Около Усть-Абаканска еще совсем недавно можно было видеть громадное деревянное колесо, притороченное к старому колодцу. Это неграмотный Сыган Окунев сооружал свою оросительную машину. Она да-

же действительно орошала семь-восемь десятин его пашни. Колесо это целыми днями крутил окуневский батрак. Крутил так же, как всю жизнь крутил он колесо своей судьбы — упорно и безнадежно.

Боле или менее серьезным проектом был лишь проект орошения Койбальской степи, разработанный инженером переселенческого управления Рудницким. Но и этот проект оставался проектом. Переселенческому управлению да и всей старой Хакассии он был не под силу.

Оросить десятки тысяч выжженных солнцем степей смогла только советская Хакассия.

Начало этой работы положило Аскызское мелиоративное товарищество.

Историческую справку о нем нам дал, пока мы шагали берегом канала, мой старый знакомый Эпчелей, один из первых пайщиков товарищества.

Организовалось оно в 1924 году. Пайщики, во главе с райисполкомом, сами своими силами вытянули на несколько верст канаву, вывели насыпную дамбу, сколотили два акведука.

В это же время промышленное т-во «Хакасс» строило плотину, электростанцию, мельницу.

Правда, эта работа, к которой оказались пристегнутыми несколько головотяпов со стороны, стоила не мало хлопот. Машинные части с помощью железной дороги вместо Хакассии заезжали в Кузбасс, а попав на место, оказывались не того размера; кредиторы грозили описать имущество, опротестовывали векселя; технический персонал работал без зарплаты и т. д., и т. д.

Но, как бы там ни было, мелиоративное товарищество осуществило свой слегка высокопарный и поэтический лозунг: «вместо кочевого ковыля — оседлая пшеница!». Летом 1926 года впервые 400 гектаров Узюмской степи были уже распаханы. Из них 200 гектаров поднял собственный трактор товарищества.

Он и сейчас пыхтел на темных бороздах, — неистовый герой степных земледельческих будней.

Удивительная машина! В глуши, где в эти годы простая волокуша на сенокосе выглядела, как пароход Фультона на Миссисипи, она казалась железным чудом.

Эпчелей звал ее «подарком революции».

Трактор врезывался не только в хакасские солончаки. Он врезался в быт улусов, как революционер и организатор.

Мне об этом рассказывали за обедом. Кое-что стояло и самый обед — обед на полевой базе горючих материалов для трактора. Место под базу мелиораторы отвели самое символическое — старый богатырский курган, старый до того, что его высокий и острый когда-то конус сравнился со степью. Только каменные плиты все еще тянулись вверх, упрямые, но беспомощные. И на самой надменной из них ученик-тракторист любовно вывел разведенным мелом одиннадцат� букв:

— Золотой Узюм.

А за обедом рассказывали:

— Это было в прошлом году на тайхе — древнем жертвенном празднике. На горе к березе уже привязана была белая лошадь. На березе качались по ветру ленты. Старый кам шагал со своей чашей и пятеро таких же стариков вели за ним пять баранов — жертву духу горы. Шаман кропил водой березу и лошадь. Еще немного — и он распорол бы одним ударом ножа брюхо барана, чтобы еще у живого вырвать рукой горячее трепещущее сердце.

И в это время к горе из кустарника подошел первый трактор.

Молодой тракторист поглядывал на гору, как сказочный богатырь, готовый спустить с тугой тетивы певучие стрелы. По смыслу старой сказки, орда должна была дрогнуть и побежать.

Но тракторист крутил всего на всего скромный руль. И вместо стремительных стрел к горе тянулся мутный синеватый дымок.

Однако, старый кам застыл на месте, как могильный камень. И, как в сказке, дрогнула «вражья орда». Молодежь первой начала осторожно спускаться с горы. Вместе с ними полз изумленный шопот и заглушенные выкрики...

Постояв в нерешительности несколько минут, шагнули и взрослые. Тесной кучкой спускались женщины. В одиночку ковыляли старики...

Шаман остался один.

И еще случай.

Был такой же вот обеденный перерыв, и мелиораторы толпились у казана с густым толканом. Трактор отдыхал на свежих бороздах, как большое уставшее животное. Веселый говор тормозил степную тишину. И вдруг на холме замаячил одинокий всадник. Издали не видно было ни его лица, ни шапки. Можно было только рассмотреть, как сбрасывал он с плеча тяжелую берданку и коротким взмахом прижимал ее к плечу.

— Бандит!

Люди с базы бросились врассыпную.

Но всадник стрелял не в них.

Когда прогремел выстрел, пыль темным вихрем метнулась у самого трактора.

---

## К Н И Г А      В      Ю      Р      Т      Е

---

Степь, солнце и пыль. Отчаянно хочется пить. Но до Усть-Абаканска еще далеко. Пришлось свернуть с дороги к большому пригородному улусу — Сапоговскому.

Однако, в гостеприимной юрте выпить даже стакан воды не так-то просто. Старик-хозяин усадил меня на войлок и послал сноху за айраном.

Пока она ходила, он успел сообщить, что один из его сыновей уехал на какие-то курсы, другой ушел на Черногорские копи.

— Забойщик что ли какой-то.

В Сапоговском это не первый случай. Вместе с сыном старика сейчас на Черногорке работало четыре парня из улуса.

А за чашкой айрана словоохотливый старик пустился повествовать о старой степи.

Он был одним из тех старых степняков, которые сумели пронести через всю свою невеселую, зависимую жизнь несломанный характер, чуточку насмешливый ум и поэтическую красочность неторопливой речи.

Он с подчеркнутой иронией повествовал о бывших влиятельных князьках степи, кичливых и вечно пьяных, месяцами гостивших друг у друга — тех самых,

которые создавали легенду о беспечальной жизни всей вообще старой Хакассии.

Он помнил сотни присказок, пословиц, поговорок, очень образных и немного грубоватых.

Словом, с таким не соскучишься.

Прежде чем проститься с ним, я решил кое-что за-нести в записную книжку.

Писать на коленях было неудобно. Старик заметил это и достал из сундука книгу.

— На! Пиши на этом. Ребята читают...

Я перевернул книгу и посмотрел на обложку. Это был стенографический отчет о работах XIV с'езда ВКП(б).

---

## ОКОЛО ЗОЛОТА

---

### ДОРОГОЙ ПРИИСКАТЕЛЕЙ

---

После каждой моей поездки по степям на две-три единицы увеличивалось число энтузиастов Хакасии в Новосибирске. Немного, правда, но...

Во всяком случае летом 1927 года мы уже снарядили небольшую самозванную зоо-гео-этнографическую экспедицию. Зоо-гео-этнографическую — потому, что исследовательские порывы действительно нам были не чужды, самозванную — потому, что среди нас не было ни одного путного этнографа и ни одного настоящего геолога. В личный состав экспедиции входил один поэт, один художник, журналист, два писателя. Научный багаж ее составлял геологический молоточек, удостоверение на право охоты в интересах науки в любое время года и документ, предоставляющий возможность сесть в вагон прямого сообщения Новосибирск — Абакан.

С этим багажом мы и высадились на полумертвой станции Уйбат с тем, чтобы в тот же вечер выехать в Аскыз.

В Аскыз мы попали как-раз в тот день, когда там ожидался «Сибревком» — самолет из краевого центра. И попали мы одновременно: он, как ему и полагается, — с неба, две наших клячи вразнопряжку — с горы. Представился заманчивый случай — встретить самолет в хакасских степях.

В те годы очень редкая корреспонденция с самоле-

та о земле или с земли о самолете забывала рассказывать о том, как навстречу «диковинной стальной птице» бросались изумленные крестьяне и пешком, и на гелегах, и верхом из соседних деревень. Испуг, восторг, трепет и неразбериха. Дальше пара слов о людях в кожаных тужурках, о восхищенных взорах, о голпе, боязливо ощупывающей странные крылья.

В заключение в кабинку, обычно, садился старик, он сосредоточенно крестился и летел. Летел для того, чтобы потом нетвердой походкой пройти к себе в деревню и с просветленным взглядом несколько дней подряд повествовать односельчанам о своем необычайном путешествии.

Так, наверное, кажется с небесной точки зрения.

С земной — несколько проще.

Действительно, встречали самолет и старые, и малые. И пешком, и на телегах, и верхом из соседних улусов. Без всякой дороги.

Впрочем, не все. По дороге прошли аскизские профсоюзники. По дороге же чинно пропыхтела под красным флагом шеренга тракторов мелиоративного товарищества.

В громадной толпе, осадившей «диковинную стальную птицу», комсомольцы спорили о том, что лучше: Юнкерс или Сопвич. Добровольцы-лекторы объясняли каждый по-своему — почему и как она летит.

После митинга, по программе — круговые полеты. «Сибревком» снимался с пустыря, кружился над незаконченной постройкой больницы, над электростанцией, над кирпичным заводом.

Традиционный старик забрался в кабину последним. Но не перекрестился.

Через полчаса-час, проведив самолет, мы столкнулись с этим стариком на аскизской улице, у яслей. Под хрип утешавшего ребятишек граммофона старик доказывал собеседнику, что покос непременно надо начать со вторника.

И все.

В Аскизе задерживаться нам не хотелось. Торопили погожие дни. Стоило начаться дождям и путешествие грозило затянуться на несколько недель. Поэтому ранним утром, когда седеющая пыль солончаков, набухшая полночной сыростью, еще жалась к остывающей

земле, два наших тарантаса уже тряслись невысокими увалами на Усть-Есь и дальше — на Иmek и Таштып.

В густом раkitнике лениво просыпались тощие улусы. Блеяли овцы. Взлаивали псы. Пахло горьковатым угренним дымком. Самих улусов мы почти не видели. То ли столбовая дорога брезговала ими, то ли сами они прятались подальше от нее. Последнее вернее. Не даром она, в отличие от большинства русских проселков, не особенно металась в стороны. Даже у Таштыпа, где выше дыбились увалы, она не обходила их, а прямым взмывала на гребни. Чувствовалось, что прокладывали этот путь люди упрямые и жесткие, знающие цену кривой казацкой сабли и кремневой павловской пищали. И не даром за Аскызом цепью вытянуть вдоль Абакана старые казацкие станицы — Монок, Иmek, Арбаты, Таштып — государевы крепости в неспокойной ясашной земле.

Ямщик повел в нашу сторону запыленной бороденкой:

— Примечательный путь! Сколько прошло тут казаков при покойном императоре Павле. Огнем и мечом шли. Подумать страшно. А сколько вслед за ними прошло всяких приискателей. Многие прошли, да многие назад вернулись. Примечательный путь!

— Давно ты публику возишь по этой дороге? — заинтересовался наш художник.

— Второй год только.

— Крестьянствовал?

Ямщик помолчал, передернул жидкими плечами и нехотя бросил в сторону:

— Для вас, пожалуй, удивительно покажется. Священствовал. В прошлом году только бросил. Нелепое занятие при создавшейся погоде.

— Д-да! Кого только не видала старая дорога приискателей.

---

## УЛУС БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

---

Крутые, насупившиеся снежными морщинами, тасхылы. И слева, и справа, и куда ни взглянешь — десятки синих, зеленых, фиолетовых гор. Глухая, сумрачная нелюдь. Только по широким, травянистым ло-

шинам прячутся последние улусы Хакасского округа.  
✓ Самый большой и самый неуклюжий из них — Матур.  
Типичное приискковое село.

На пригорке маячит одряхлевшая, заколоченная, никому не нужная церковь. Молиться в ней никто уже не хочет, а приспособить ее хотя бы под избу-читальню никто еще не догадался.

Через два дома в третий шинок.

В старину по праздникам в Матуре бывало жутко. На кривые, грязные переулки улуса выкарабкивались из тайги привычные гости — поклонники золота, пули и ножа. На них-то и строился бюджет исконных матурцев — проводников, охотников и шинкарей. Да и сейчас еще здесь не уставали слушать разговоры о золотом фарте, о легкой наживе. Разговоры, в которых правды не больше, чем чистого золота в тонне руды. Однако, нет такого приискателя, который не бросался бы, очертя голову, по обманному следу сказки, не бороздил бы суровую тайгу вдоль и поперек, от ручья к ручью, прокладывая новые, одному ему ведомые тропы.

Один из таких и окликнул меня:

— Эй, парень! Деньги потерял, чо ли? С похмолья, может?

— А что?

— Голову-то пошто повесил? Заходи. Вылечу.

— Спасибо. Мне некогда.

— А ты не кочевряжься. Ты, видать, человек образованный, а я образованных люблю. Горного инженера Тихонова слышал? Я вокруг него сызмальства. Где кучером, где как. Да ты откудова? Положим, ясное твое море, мне на это наплевать. Здесь у нас откуда хочешь приходи, — спрашивать не любят. И нас не больно спрашивай. Лучше скажи — куда едешь?

— На Горячий ключ.

— Далеконько! Я, брат, сам только сейчас оттудова. Заходи, говорят, в избу-то. Потолкуем насчет Горячего. Места здешние верст на пятьсот у меня в башке лучше, чем на карте обозначены. Заходи.

Изба, в которой негде повернуться. Половина всей жилой площади отхвачена тяжелой дедовской кроватью и широко рассевшейся русской печкой. На печи — мальчишка, на кровати — еще молодая женщина, но

с вылинявшим уже, желтым лицом. За столом — жилистый, босой старик, одетый, кажется, в одни только заплаты. Глаза, опустошенные годами и таежной непогодой, густо вышиты петлями кровавых жилок.

— Здравствуйте!

— Ну, и здравствуй, ясное море. Образованный, говоришь? Тогда садись. Люблю образованных. И всегда любил. Бывало, говоришь-говоришь, слушаешь-слушаешь. Ровно бы как в школе учишься. Мне в школе то, вишь, не пришлось...

Старик пьяно смотрит на недопитую бугылку и вдруг, тряхнув перевязанной рукой, раздражается руганью.

— Тоже друг называется. Сволочь, а не друг. Запомни, брат: рысь пестра снаружи, а человек — снутри. Попробуй, раскуси его. Артель хороша, пока золота не видит. А как намыли... только поддержишь, ясное море! В тайгу пошли вчетвером, а из тайги, глядишь, идут двое. Двоим, известно, больше достанется. А тех двоих ищи, упокойничков. Ты в тайге искать не пробовал? Попробуй, ежели охота.

— А ты что, пострадал?

— Вот то-то и есть, что не пойму. По правилу, он мог меня за здорово живешь и в тайге стукнуть, а то до самого Матура дошли хоть бы что! Ни ругани, ни спору! Ни тинтилили — ни веревочки. А как из шинка выглянули, — он меня в плетнях и двинул. Да не на таковского напал. Будь у меня, ясное море, нож...

— Лечишься, значит?

— Лечиться не лечусь. Однако, сижу вот, жду. Должно, стервец, где-нибудь у Таштыпа на дороге в кустах засел. Поджидает. Если сейчас выйти — душа из меня вон, — прикончит. А я обожду малость, да и пойду с богом.

Старик грузно оседает в угол.

— Васька!

— Ну?

Этими двумя словами и исчерпывается разговор большого с малым. Васька молча схватывает пустую бутылку со стола и тянет руку. Приискатель выволакивает из какой-то аховой заплаты красный платок и осторожно высыпает крошки тусклого золотого песка. Потом песок с широкой стариковской ладони так

же осторожно пересыпается в согнутую лодочкой ладонь мальчика. Тот деловито подбрасывает тяжелые желтые крупинки, в уме определяет вес и быстро тает за плетнями, в легком, спускающемся с гор тумане.

А старик продолжает:

— И скажи ты, пожалуйста! всю жизнь сызмалетства маюсь по тайге. Собаки хуже. Голодный, мокрый. А на кой ляд? Пропью вот все до чорта и опять смогаюсь. Смогаюсь, ясное море. Все хочется на фарт попасть. Есть он где-нибудь, мой фарт! Есть! Ты послушай. Давно это было. Может лет семьдесят назад. Дошел как-то даже до самого Питера слух, что в нашей Кахассии золота хоронится видимо-невидимо. Только дороги к нему нет, и найти его без науки невозможно ни в жизнь. Вот и распорядились в Питере министры послать самого что ни на есть ученого инженера с секретными бумагами за царской печатью. А в бумагах тех приказ: найти золота и все планы снять, и никому, кроме самих министров, не показывать. Приехал инженер. Нашего брата, горокопа, взять с собой опасился, а взял кахасцев, которые по тайге с испокон веков, а читать-писать не умеют. И пошел. Пошел и пошел. И нет с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Пропал человек. А он, оказывается, со своими секретными-то бумагами ходил ни много, ни мало—пять лет и нашел такую реку, что золота в ней на дне, как гальки. И река та не белая, как все, а желтая, до того в ней золота пропасть. Снял инженер все планы до тонкости и возвратился. Пойти — пошел, а дойти не привелось. Что с ним приключилось, толком никому неизвестно, а только помер он дорогой, не дойдя даже до Матура. Зарыли его кахасцы в колоднике, а сами с планами пошли до дому. И неизвестно теперь, в каком улусе планы эти схоронены. Сами кахасцы по ним найти ничего не могут, а знающим людям не дают и не рассказывают. Но есть такой слух, что кому-то эти планы все ж-таки известны. Но не в полной их точности. Вокруг да около золотой реки ходят, а найти сила не берет. И много же народу ходит! Кабы я один...

Васька давно уже принес бутылку и теперь тихонько шушукался с матерью. Мать заметно веселела. А старик все говорил. Забыв приисковую осторожность, он в глубоком сумраке, при чадной копилке, когда поска-

кали по избе причудливые тени, повествовал о таинственной заимке, к которой собирались чуть не со всей Сибири хищные искатели потерянной реки, о Сергее — их вожаке, о жене его несчастной Наташке, погибающей среди этого сброда от гнилой болезни и сердечной сухоты.

Старик до поздней ночи сыпал имена и приметы. Ни он, да и я не знал, что через 5-6 дней горная петлистая тропа приведет меня, вместе со всей нашей небольшой, но дружной экспедицией, на эту самую заимку — штаб-квартиру неугомонившихся обломков старой золотопромышленной Сибири.

Долго рассказывал бы старик, если б его не прервала ввалившаяся в избу старуха. Он выругался:

— А-а, пришла, язва! Тянет тебя на золото, как голодную собаку на падаль. Это, ясное море, родная мамаша той самой Наташки, про которую я сказывал. Дочь-то сплывила, а сама тут гостевой домик открыла для нашего брата — таежника. Девоч подбила подходящих. Вот что золото с человеком делает! Старик уж я, и перцу во мне никакого не осталось. А лезут...

— Ты хоть Наташку не тронь, старый пёс!

Уже на улице я дослушивал, как отругивался старик и пьяно голосила непутевая старуха:

— Наташенька ты моя, доченька моя единственная, солнышко мое незакатное!..

---

## ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

---

Сразу же за Матуром кончается колесная дорога. Начинается тропа. Все реже, все прозрачнее и приземистее березняк. Все чаще лиственницы и за ними кедр. Все выше горы.

Лошади путаются в колоднике. Вместе со всадниками прячутся в буйной таежной траве. Раз'ехались немного и — ищи друг друга.

Экспедиция наша подвигалась еле-еле. Слишком извилистой была таежная тропа. Лошади то тяжело взбирались в кручь, то сползали с обрывов. Там, внизу, было прохладнее, но темнее, и тайга казалась чересчур уж пасмурной и угрюмой.

Только под вечер мы добрались до брошенной заимки на берегу Айзаса — когда-то золотоносного ручья.

Заимка эта — что-то в роде постоянного таежного двора. Только без овса, без сена, без традиционного пузатого самовара и даже без хозяина. Кто первый заехал, тот и хозяин.

Но зато есть, так сказать, «домработник», охотник-хакасс. Ему, наверное, лет сто. На голове почерневший платок. Под платком кусок пергамента вместо лица и на нем рысьи усы. На ногах, таких тонких, какие бывают только у скелетов, болтаются рваные сагиры. Из каждой трещины их лезут зеленые хлопья озамата — мягкой травы, похожей на пырей и заменяющей таежным охотникам хлопок и леп.

— Нужная трава. Без нее зимой ни один хакасс в тайгу не пойдет. Холодно! А старику и летом годится. Вместо пимов, — объясняет наш проводник.

В каморке старика столетнее ружье, рожок для пороха, топор. И все.

— Охотишься, дед?

Но дед по-русски знает туго. Всего четыре слова:

— Запас нет, порох нет, спичка нет.

Проводник говорит, что старик навсегда ушел из родного улуса.

— Другая в улусе жизнь идет. Новая. Ему не нравится. Вот и ушел.

Через час старик продавал нам глухарей.

А вечером можно было слышать, как он разговаривал со старым кедром.

— Шестьдесят корней твоих да не вывернет дьявол! Имеющий золотую хвою, посмотри на меня, который остался тебе верен...

Старик по-дедовски в каждом уголке тайги еще видел духа-покровителя. И каждый вечер разговаривал с ним. Больше ему не с кем было разговаривать.

---

## КУЛЬТУРТРЕГЕР ВОРОБЬЕВ И КОМПАНИЯ

---

С утра — снова тропа. К вечеру — самый большой на нашем пути перевал.

На уровне головы — снежные расселины и десятки километров тайги за шапками соседних перевалов. Ни-

же — буйная трава, кедрач и пихта. А в котловине светлыми подпалинами на костлявых боках пригорков редкий березняк, осинник и тальник по берегам Мрас-Су.

Долина Мрас-Су — это уголок Горной Шории. ✓

Внизу лошади снова путаются в колоднике, до стремян купаются в болоте. Кажется, никуда не выведет надоевшая тропинка. И вдруг — пашня, сенокос и за поскотиной шорский поселок Усть-Кубан-Су.

Первая постройка — срубик на высоких сваях, полустгнивший памятник охотничьего быта. Здесь когда-то прятали мясо от таежного гостя.

В поселке — крошечные избушки на курьих ножках. Окна такие, что две головы в них уже не просунуть. Амбары в полтора аршина. Тоже на сваях. Но уже низеньких. У шорцев даже собаки раза в два меньше наших. Хотя лают отчаянно.

На их тревожные сигналы сбежался весь улус.

Постояли, поговорили. Кос-как объяснили дорогу до ближайшей пасеки.

Чтобы попасть к Воробьеву, пришлось сначала перебрести Мрас-Су, потом взять кругой пригорок. И тогда лошади уперлись прямо в изгородь.

— Можно переночевать?

— А куда ж вам в тайге деваться.

В избе светло, чисто, крепко. На окнах «Крестьянская газета», «Крестьянский журнал», «Лапоть» и пчеловодные брошюры с чертежами. Чертежами Воробьев недоволен.

— Написано 320 миллиметров, якоря его. Ну, я, как сам столяр, выкроил честь-честью. А хватить — не подходит.

На пасеке Воробьева 19 ульев Дадана. На каждом свой номер. А в записной книжке хозяина на каждый номер — своя анкета. Двадцатый улей — опытный, системы Нуклеуса.

Омшанника нет — ульи утеплены. Утеплен, кстати, и скотный двор. Словом, культурное хозяйство. К тому же поставленное личным трудом.

Как будто и незаметно признаков кулацкого хозяйства. Только возникает вопрос: для кого столько меда? Едва ли для своего потребления...

Секрет хозяйства открылся совершенно случайно.

Утром мы застали хозяина во время разговоров с целой толпой шорцев. Шорцы кланялись и о чем-то просили.

Заметив нас, пасечник в два счета сплавил посетителей и сразу же начал оправдываться:

— Просят чего-то! А я ведь и не требую. Ну, задолжались, конечно... Ну, отдадут когда будут... Я же проценты не беру.

А на другой такой же пасеке мы наткнулись на «мельницу» — элементарнейшее приспособление для промывки золота.

Коряжистый хозяин витиевато славословил таежную благодать и прелести мирной трудовой жизни на лоне природы. Слова падали одно за другим глухо и нудно; было ясно, что никому они не нужны, даже самому разговорчивому пасечнику. Зато ни на минуту не спускал он с посетителей своих затуманенных глаз, то нахальных, то почтительно голодных.

На заимке было несколько батраков. Были и постояронние. Впрочем, они не делали секрета из того, что чувствуют себя здесь, как дома.

Несколько отрывистых фраз и мы догадываемся, что это один из сборных пунктов старателей-хищников.

Нашим скорым отъездом хозяин не был удручен. Он даже более или менее толково рассказал дорогу до ближайшей заимки. Она-то и оказалась той самой, о которой повествовал в Матуре старый тасжный волк.

---

## Т А Е Ж Н Ы Е Х И Щ Н И К И

---

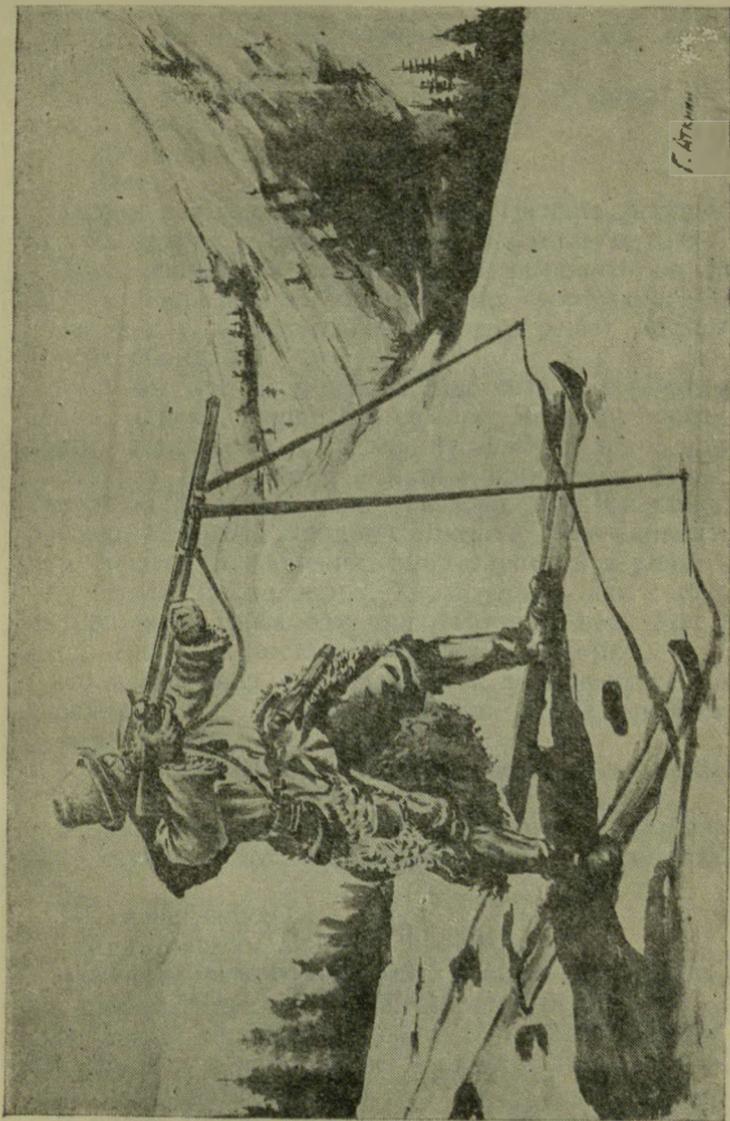
Как-то вдруг выросла из кустарника порыжевшая старая крыша. И прямо в лицо ударил пьяный гомон и хрипчатая песня. В несколько секунд наших лошадей окружили матерые приисковые бродяги.

— Кто?

— Куда?

— Зачем?

Совершенно искреннему, нам самим надоевшему ответу — приехали в тайгу отдохнуть, провести свой отпуск — явно не верят. Однако, из соображений таежной деликатности молчат.



F. K. 1000



ОХОТНИК

Рисунок хакасского художника-самоучки Г. Аткинина

Тогда в разговор вступает хозяин.

— Наталья! Поднеси товарищам бражки. Да скоренько. Устали с дороги.

Глаза хозяйки, подчеркнутые невеселой жизнью, смотрят и зло, и пугливо.

Выбрав удобную минуту, передаю ей привет от матери и старика.

— Да нешто вы их знаете?

— Знаю.

Наспех рассказываю о встрече. Наташа задумывается, благодарит и незаметно растворяется в толпе.

Итак, заимка та самая. Но размышлять не время. Кругом бестолковый, шумный, но сторожкий говор.

Человек с провалившимся носом режет прямо, без всяких обиняков:

— А вы нас не бойтесь! Мы хотя и горокопы, но народ, однако, лучше городского. Честный народ! Хорошим людям рады. Вы мне что-нибудь такое про Новосибирск расскажете, а я вам про тайгу. Могу про Северную Америку, если нравится, про Клоцдаек, например. У Джека Лондона помните? Что удивляетесь? Я, с вашего позволения, имел глупость в университете учиться. Да не впрок. Характерами, как говорится, не сошлись. Тайга заманила. Обошел весь Урал, Сибирь, Дальний Восток. Побывал в Америке...

Но в разговор уже вплетается весь нестройный, неспевшийся хор хриплых голосов. Кто с кем говорит, о чем говорит?

У плетня трагический тенор убедительно доказывает:

— Слишком нельзя. Если слишком, не одобряю. За дело стукни, а так, чтобы убивать, — этого не одобряю.

Мы переглянулись.

Хозяин заимки любезно пояснил:

— А вы его не слушайте. С пьяных глаз. Душа у него добрая. Что у теленка. Да если б и не так, — не страшно. У нас душа открытая. В тайге врагов не знают. Пришел к нам, значит — гость. Значит, будь спокоен. Ни одним пальцем.

В яркое пятно костра широко врезается громадная неуклюжая фигура. Контуры массивных рук и густая, темная, всклокоченная борода:

— А вы, братишки, часом не по нашей части ударяете? Не таитесь, если что. Говорите на чистую. Думаете, золота нам жалко? Здешнего золота на всю землю хватит. Я вам и место хоть сейчас покажу. За нами дело не станет.

Бывший студент с провалившимся носом бесцеремонно отпихнул бородача назад. За костром, в густой и липкой темноте на болтливом хищника набросились со всех сторон:

— Прикуси язык!

Говор становился все бессмысленнее. И тише. Один горокоп с высшим образованием не уставал.

— Нет, что вы мне ни говорите, а жизнь уже не та. И люди не те, и жизнь не та. Мелкотравчатость. Эх, раньше-то!.. Раньше, я вам скажу, и солнце всходило не так. Не всходило, а пело. Где вы найдете теперь таких людей, что были? О городе я уже не говорю. Там вы растворились в массах, как сахар в стакане. Но даже здесь, в тайге... Разве сейчас приискатели?

Он оглянул охмелевших, приткнувшихся к костру соратников и закончил брезгливо:

— Мразь! Выпили и на бок. Спят, хоть их убей. Хорошо, что газет еще не читают. А то сядет этакий слюнчатый и тычет пальцем: се... о... со-ци-а-лизм. А понимает он, что такое социализм?

— Однако...

— Бросьте! Где человек? Я вас спрашиваю: где человек? Настоящий, крепкий, вылитый из стали, без сердца и без жалости. Где? А ведь были... Вы не слышали про Иваницкого, местного золотопромышленника? Одна картиночка вашему вниманию! — Рассказчик оживился. — Сидит Иваницкий на балконе. Пьет кофе. Мимо — татарин, хакасс, как их теперь зовут. В зубах, конечно, трубка. Иваницкий берет ружье, прицеливается и... раз! Трубка вдребезги. Татарин в ужасе. Иваницкий швыряет ему сверху золотой — за ужас. Так потом подлецы нарочно мимо балкона с трубкой пошли. Иваницкий сшибает трубки, татары — золотые пятирублевки. Широта была у человека, размах! А теперь в доме Иваницкого хакасская гимназия или как их теперь называют?

Рассказчик улыбается куда-то за костер. И вздыхает:

— Да. Но это, так сказать, романтика. Иваницко-го нужно было видеть на работе. Он ухитрялся в совершенно безнадежную жилу подбросить немножко золота, немножко свинцового блеска, цинковой обманки и всучить участок какому-нибудь русскому золотопромышленному акционерному обществу. Однажды даже американскому. И в это же общество сам входил акционером. С одной стороны, при его благосклонном участии больше доверия жиле, а с другой... судите сами: общество тащит на участок оборудование, строится, вбивает деньги в машины, фабрики. И... пожалуйста! Копается в пустой породе. Проходит год-два. Общество начинает вылетать в трубу. Тогда Иваницкий скупает по дешевке акции и становится опять хозяином участка. И какого участка! Оборудованного, отстроенного. Но в пустой породе копать он, извините, не будет. Он повернет немножечко в сторону и будет брать прекрасное золото. Великолепное золото. Оно и раньше, конечно, тут было. Но скрывали его от акционеров умеючи. Да и понятно: инженеры — Иваницкого, техники — его же. При акционерах они ходили вокруг да около, копались в пустой руде, а настоящие промышленные жилы берегли. Да, были люди в наше время!..

И бродяга, сам выходец из среды Иваницких, снова вздохнул. Он даже на самом дне жизни сохранил психологию конквистадора, психологию врожденного эксплоататора и хладнокровного убийцы.

---

## ОСКОЛОК РАСКОЛЬНИЧЬЕЙ РУСИ

---

Наконец-то мы на берегу Абакана, в небольшом кер-жацком поселке. От него километров полтораста до Телецкого озера и километров 250 вниз по Абакану до ближайшего зимовья.

В поселке всего четыре двора.

Первый же, встретивший нас, обитатель поселка об-яснил:

— Было больше, да как только через нас открыли тропу на Горячий ключ, — которые покрепче ушли.

— Далеко?

— А кто их знает! От людей ушли.

Но и те, которые послабее, от людей держатся в сторонке. Семнадцатилетние парни по-старинному острижены в кружок, двадцатилетние растут бородки. Девушки — в ярких сарафанах, перехваченных поясками, спускающимися сзади длинными до пят лентами.

В поселке своя кузница, свои ткацкие станки, своя посуда, свои сани. Даже вожжи свои, с вытканной славянской вязью надписью: «я маряна лужична тку вожи мои летите возвивайся не кому вруки не давайся».

Жизнут кержаки всем, чем придется: охотой, рыбой, сплавом. У них же привал для охотников, рыбаков, золотоискателей и больных, вереницей тянующихся каждое лето на целебный Горячий ключ. Продают мясо, кожу, плавают на условленные места старателям колоды с провиантом.

— На хлеб хватает.

— А рыба у вас есть?

Старик оглядывается:

— Нету сейчас. Не ловили. Оно может и есть, да нету. Не наша река-то. Не сильно продашь.

Продать нельзя потому, что совершенно случайно вместе с нами в поселке оказались и арендаторы реки — крестьяне из Нижнего Матура, попавшие сюда в качестве рабочих лесной изыскательской партии. Заняты, положим, были они больше разведкой золота и охотой, чем изысканиями. Но...

— Они на реке и есть хозяева.

Под вечер нам удалось присутствовать при исключительной торговой сделке арендаторов с кержаками.

— Так отдаешь лодку? — спрашивает хозяин реки.

— Смотря, почем даешь! — лениво отвечает хозяин лодки.

— Я ж тебе говорил: Казыр-Сук не дам. А, кроме его, бери две любых речки на участке.

— Да на кой ляд мне их без рыбы? За Казыр-Сук отдам. Лодка-то 12 аршин без малого.

Мы тоже торговались. Но уже по другому поводу. За 15 рублей дед Сафрон обязался доставить нас вверх по Абакану от кержацкого поселка до Горячего ключа на двух лодках.

— На одной сам поеду, на другой — мальчонка. Ну, и вы помогать будете, поболтаете шестом.

Болтать пришлось около 50 километров. Мы — шестами, старик, кроме того, — еще и языком.

Крепкий, лохматый, пополам перегнутой горбом, он весь набит цитатами из библии, охотничьими рассказами, прибаутками и присказками, которым от роду, по крайней мере, двести лет.

Сафрон исколесил всю Россию.

— От Питера до Владивостока. Всего видел. Покамест сюда не пришел. Тут и загорбился.

— Как?

— По шишки лазил. Горячий был. Другое дерево за деревом по земле. А я по крыше — с верхушки на верхушку, в роде белки. Одна и свалился. Не допрыгнул.

После двух-трех охотничьих рассказов — цитаты из пророка Иеремии.

— Вы на меня, на старика, не сердитесь, а только я хочу с вами о боге потолковать.

— Можно и о боге.

Старик на добрые два часа разводит проповедь.

Его любимое воспоминание — «победа», одержанная в давние времена над каким-то судебным следователем.

— Тоже неверующий был. Я его и спрашиваю: а как же пророки, которые за многие тысячи лет, как на ладони, судьбу человеческую видели и читали лучше, чем по звездам ночью? А он мне: умные, говорит, люди были. Ага, думаю, и задаю ему самый, что ни на есть, простой вопрос: а ну-ка скажи мне: что с тобой завтра будет? Следователь молчит. Не знаешь? Выходит, что ты не умный, а, прямо сказать, дурак.

Впрочем, с этой точки зрения и старик через полчаса оказался дурак-дураком. Не мог предвидеть, что вторая наша лодка, шедшая по его следу, попадет в стремнину и опрокинется.

Пришлось старику догонять поплывшие мешки, тулжурки, плащ.

— Догоним. Как не помочь хорошим людям! По писанию, человек человеку — брат! От брата наживать — добра не видать.

Но когда на обратном пути мы с плота прибежали в поселок за хлебом, мясом, яйцами, сметаной, старик за пять минут откровенно набил цену.

— Яиц вам? Можно. Эге, да вас тут полно. Придется накинуть...

Торговался старик из-за каждой лепешки, из-за каждой чашки сметаны до хрипоты. Но все с теми же прибаутками, присказками, цитатами.

Когда плот отвалил от берега, он махнул старой войлочной шляпой, крикнул «с богом» и сел тут же под тополями пересчитывать заработанное серебро.

---

## С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ, КУРОРТ

---

Нет в Хакасии человека, который не знал бы этого единственного в своем роде курорта. О нем слышали даже в Минусинске, в Бийске, в Улале. На Горячий ключ приезжают больные из Барнаула и Красноярска. А поздней осенью, когда над таскылами сеет тяжелый таежный дождь, переходят границу, чтобы выкупаться в ключе, ташу-тувинцы.

Надо быть или фанатиком лечения, или бродягой, чтобы рискнуть на такое своеобразное курортное лечение.

На небольшой полянке ванна — неуклюжий низенький сруб, поставленный прямо над ключом. Под плоской крышей настил из жердей и два окна куда-то вниз, в темень, где легкими хлопьями бьется белый пар. Эти два колодца по-настоящему и есть ванны.

Раздеться нужно наверху, на скамейках, забросанных хвоей. И... пожалуйста по жидкой лесенке вниз в окно.

Сначала ключ как-будто обжигает — 33 градуса по Реомюру. Но привыкаешь сразу же. Даже больше того — прямо приятно вытянуться во весь рост на песчаном дне.

В каждой ванне купается сразу четверо-пятеро больных. Плещутся, поворачиваются с боку на бок и разговаривают — почти всегда о ключе. От нечего делать шарят руками по дну, — не попадет ли серебряная монета, брошенная на дно в дар неведомой целебной силе суеверным хакассом. Впрочем, это только первые десять минут. Под конец тело тяжелеет, ноги наливаются свинцом и не хочется ни шевелиться, ни говорить. Люди, отважившиеся принять двухчасовую ванну, выходят совершенно пьяными. И недаром впечатлитель-

ным хакассам в воде является прекрасная девушка в огненной одежде — дух Горячего ключа.

Особенно долго купаются ойроты. Они рассуждают просто:

— А какая польза мыться каждый день по малу? Время только идет. По нашему так: сел в ключ и сиди всю ночь. И готово! Здоров.

Вокруг ванны на залавке три-четыре десятка палаток, балаганов и шалашей. Круглые сутки курятся костры и шипят чайники все с той же чудодейственной водой — от катара желудка.

Кого только нет в этих шалашах! Ревматикки, сифилитики, трахомные, туберкулезные, люди с язвой желудка и астмой.

Выздоровливают?

Некоторые — да. Во всяком случае, кожные болезни, всевозможные язвы радиоактивный ключ залечивает довольно быстро. Ревматикам тоже помогает. Хотя относительно. Туберкулезных, конечно, губит. Дело в том, что шалаш после ванны — прибежище довольно ненадежное. А вокруг — снежные тасхылы, за которые днем и ночью цепляются набухшие дождем тучи. В долине Казыр-Сука, протекающего на несколько сажен ниже «курорта», по вечерам тяжелый туман. И почти непрерывный дождь. Лечившиеся в июле видели всего-на-всего три ясных бездождных дня. Нет ничего удивительного, что рядом с курортом уже приоткрылась кладбище. Не исключена и возможность заражения. Какой-то липовый врач, под руководством которого строились ванны, расположил их одну над другой по течению ключа. Если в верхней купается сифилитик, купающийся в нижней рискует позаимствоваться его болезнью. А без врача разобрать, кто чем болен — трудно.

Но здоровому, или почти здоровому человеку побывать на таком курорте, конечно, не вредно. И безусловно интересно. Темные горы, затянутые сплошным кедром, изредка всполохованные хрупкой зеленью березовых россыпей. Бешеный Казыр-Сук, по-русски Бедуй, переворачивающий камни, вздохмаченный пеной, не утихающий ни утром, ни вечером. Иногда снежная буря. На рассвете медвежий рев. Озера на самых вершинах гор. Водопады. И, наконец, этот шум-

ный и дымный, живущий надеждами и легендой лагерь фанатиков и бродяг.

---

## В Н И З П О А Б А К А Н У

---

Весь передергиваясь жидкими бревнами, торопится вниз по Абакану «курортный плот». На нем какой-то предприимчивый лоцман сплавляет с Горячего ключа больших.

На пруде прелой пихты, кое-как брошенной на бревна, подсунув под голову полушубок, валяется лохматый, давно нечесанный парень, с кудрявой бородкой. Он, не торопясь, занимает сонных слушателей:

— Богомдарованный? Хороший рудник. Был на нем. Знаете, почему его так назвали? Был в Чебаках такой человек — приискатель не приискатель, а вроде. Федулов по фамилии. И до золота был охотник, и служил где-то. С ним и вышел на охоте случай. Подстрелил он как-то двух глухарей. И подстрелил их в разных местах. Одного, скажем, здесь, а другого верст за восемь. Может, за десять. Ну, хорошо! Убил. Привез. И взялись его дочки, вместе со стряпкой, глухарей этих жарить. Только-что распотрошили, глядят, а в зобу у одного — самородок. Да не какой-нибудь, а здоровенный, чистый. Глухари, действительно, на золото или там на серебро птица падкая. Увидит и сцапает. Ну, хорошо! Бегут дочки к папаше. Показывают ему самородок. Тот сейчас же на кухню: в котором глухаре нашли? А глухари, понятно, ошипаны. Попробуй, угадай. Оседлал Федулов коня, да и в тайгу, в оба места, где глухарей бил. Поискал в одном, искал в другом. Нет золота. Об'ездил всю округу. К ночи собрался домой. Чорт его знает, — может, глухарь с самородком верст за сорок прилетел! И только-что стал подниматься Федулов в гору, лошадь у него и споткнулась. Рванула копытом мох, а под копытом — золото. Спрыгнул Федулов, искал. Видит, место богатейшее, богаче такого не найти. Сейчас же ночью и застолбовал. Сейчас же и назвал — Богомдарованный. Ну, и золота тут было!.. Да и сейчас поди не выбрали.

Парень мечтательно затихает. Солнце — редкий таежный гость — припекает все сильнее. Но с реки тя-

нет прохлады. И парень поворачивается к солнцу боком.

— Хорошо!

— А ты, кажись, паря, больше всех на ключе прожил?

— Пожалуй что. Три месяца. В прошлом году и того больше.

— Не надоело?

— Да нет.

— А дома как?

— Дома? Отец в силе, брат. Управляются.

— Помог тебе ключ-то?

— Кто его знает! Кабы как следует лечиться. А то где рыбенки половишь, где с ружьишком проболтаешься...

И вдруг неожиданно добавляет:

— Говорят люди, что должно быть на этом ключе большое золото. Клянутся. Есть, которые сами видели. А вот не попадается. Почитай, всю окрестность измерил. Нет. Однако, должно быть. По всем приметам...

— Попусту, значит, искал?

— Выходит, что так.

— Шел бы ты лучше, парень, на казенные прииска. Парень только смеется:

— Это нам не с руки. Оно, конечно, некоторым хорошо. Да не всем. Мне не идет. Неподходящий я для рабочего класса человек. Там не ты себе хозяин. Вот в чем главное. А здесь, в тайге, я — кум королю.

— Ну, и треплись, коли охота!

— Не привыкать. Знаешь поговорку насчет горбатого. Одна могила исправит.

Плот подходит к Карбонаку — старому массивному утесу, крепко вросшему в землю там, где встречаются на крутом уклоне Малый и Большой Абаканы. Здесь река сразмаху хватает плот и швыряет его на утес. Нужно большое уменье, чтобы почти на ребре плота проскочить Карбонак, задевая бревнами серый гранит.

Недаром километра за три до опасного места лоцман останавливается и под рев двух столкнувшихся рек неторопливо отдает последние распоряжения. С плота, прежде всего, ссаживают на берег детей, женщин и часть мужчин. Они должны обходить утес бе-

регом. На плоту остаются только те, кто хочет и может работать на пребях.

Переселение продолжалось 10-15 минут. Плотовщики еще отвязывали канаты, а слезшие с плота уже поднимались по еле заметной тропинке вверх.

Впереди, не торопясь, вразвалку шагал парень с кудрявой бородкой.

А через несколько секунд плот отчаянно швырнуло на утес и он с головокружительной быстротой понесся вниз по реке, почти задевая скрипящими бревнами отвесный, накупившийся зеленой карганой, холодный камень.

---

## У ИСТОКОВ РУДЫ

---

### ЗАВОД, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ЖИТЬ

---

Самое обидное неудобство путешествия на плоту — это безнадежная зависимость от лоцмана.

И справа, и слева тянется позолоченный солнцем кедрач, скалы, которые второй раз встретятся только в воспоминаниях... Серебряная нитка водопада, пополам перерезавшая гору, глубокая сумрачная пещера, около которой так и тянет остановиться.

А плот проходит мимо.

У первого жилого места — у зимовья на устье Матура — часть нашей экспедиции поэтому отстала от плота.

Здесь, валяясь на песке, мы составили небольшое товарищество на вере и превратились в судовладельцев. Правда, судно наше было далеко не паровым и даже не весельным. Это была обычная для Абакана лодка, оснащенная деревянной лопатой и парой шестов. Весла на этой реке ни к чему. Вверх по течению на них все равно не подняться, а вниз... лодка и без них идет хорошо. Местами — до двадцати километров в час.

Превращение наше заняло не больше суток. На другой день утром весь личный состав зимовья уже объяснял нам дорогу — через три порога и бесчисленное количество камней-одинок. Пороги назывались почти зловеще — Крепостью, Городищем и еще как-то.

Но человеческая память, в конце концов, не карто-

тека и не дорожный справочник. Кое-что в ней может и перепутаться. Первый же камень, на который нам нужно было взять курс, мы прозевали, зато с похвальной уверенностью повели свое судно на камень, которого нужно было опасаться. В последующей неразберихе мы даже не заметили, как очутились в самом центре порога. Что это был за порог — Городище или Крепость — остается невыясненным до сих пор.

Но как бы там ни было — к полдню мы совершенно благополучно подошли к Абазе — заброшенному чугунно-литейному заводу.

Это был приземистый каменный корпус, вросший в тяжелые горы своей широкой неподатливой спиной. И перед ним рабочий поселок в триста с лишним дворов.

Самое ценное, что осталось от завода, — воздуходувка.

В тяжелый чугунный ставень еле стучится солнце. В полутьме кирпичные стены кажутся заплесневевшими и затянутыми паутиной, словно траурным, черным коленкором. Под ногами железные стружки, гайки, гвозди, обрывки проволоки.

Посреди цеха втиснута в пол отжившая свой век бывшая гордость завода — воздуходувная машина — уставший гигант, разбросавший во сне судорожно сведенные руки — тяжелые маховики.

Старик-механик рванул скрипучий ставень и похлопал ладонью чугунный круп машины:

— Как покойник. Не поверите, — который уж раз этот цех показываю, а не привыкну. Уходишь отсюда, все-равно что с кладбища. Ведь бывало, как зажужжит...

Старик, не спеша, тронул какой-то кран...

— Повернешь вот, и готово! Встанешь вот тут... по телефону передают команду из конторы. Раз, два!

Механик перебежал с места на место.

— Хлоп! И пошла. Жжжж. Раз, два... жжжж...

Покойник не шелохнулся. Но переживший его приятьель поворачивал рычажки, подвинчивал гайки, прыгал, вертелся и жужжал. Жужжал, пока не опомнился:

— Вы уж меня простите. Я с детства здесь. Коренной абазинский. Пойдемте дальше.

На громадном дворе завода — трава, железо, чугуны. И глубокая яма. Здесь была домна. Справа каменный остов механического цеха. Ворота сорваны и видно, как в дальнем углу отмахиваются от слепней чахлые лошади.

— Жалко старика! — продолжал механик. — Конечно, завод отживший. Машины расхлябались, устарели. На ремонт нужны сотни тысяч рублей. Невыгодно. Транспортных возможностей никаких. Завод, понятно, будет жить, но не здесь. Где-нибудь в другом месте. В Абакане, скорее всего. И все-таки жалко. Особо ценно машины. Как их вывозили? То ли спецов при этом деле не было, то ли работали с похмелья... Возьмите станки. Один из них в Барнауле работает, другой на Гурьевском заводе. Против этого возражать не приходится. А вот котел... 250 верст на плоту по Абакану гнали, а сейчас, видим, лежит в Усть-Абаканске на свежем воздухе. Ну, зачем? Кому от этого польза? Ведь для нас тут каждая машина ближе родственника. Или вот труба. Громочайшая труба была, а развалили всю, как есть. Тосковали тогда абазинцы. Спрашивали — чего это вам труба помешала? — Мы, говоря, железо из трубы возьмем. А в ней и железа-то пудов двадцать. Выйдешь раньше из квартиры, — местность у нас благодатная, — горы, тайга... И труба тут. Издали ее видать было. Глушь такая и труба! Залюбуйся...

В памяти старика хранятся десятки архивных документов, давно уже вывезенных из конторы Абазы.

— Было там, между прочим, описание изысканий инженера Келя. Он обследовал ископаемые богатства нашего района. Только на площади двух штоков на одной сажени глубины — 25 миллионов пудов руды. По мнению профессора Богдановича, наше месторождение вроде Благодати и Высокой на Урале. Одна гора так и зовется здесь — «Абаканская Благодать». ✓

Старик готов до вечера рассказывать о заводе.

— Любили мы его. Привычка. Обратите внимание, — сколько здесь осталось народу. Молодые, конечно, уехали. На другие заводы, на советскую работу в Хакасию. А старики остались. Сидим и ждем. И ждать-то нечего, а ждем. Впрочем, кое-что делаем, по малости.

Действительно, есть на дворе бывшего Абаканского

завода один уголок, где звенят молотки и шелестят ремни. Это около бывшей литейки.

Когда окончательно было решено ликвидировать Абазу, один из поселковых обитателей продал дом и купил вагранку.

— Для чего вам? — спрашивает комиссия.

— А я, может, с товарищами сговорюсь...

И сговорился. Сколотили артель «Старый литейщик». Собрали 80 рублей. С'ездили в Усть-Абаканск и взяли в кредит заводскую чугунную ломь.

— Заказов теперь сколько угодно! А на первых порах трудно было. Соорудили сарайчик и пустили вагранку конным приводом. Смотрим — убыток. Своими силами принялись ладить котел. Ничего — сладили. Хотя и был у нас всего только один кожух. Все части отлили и сделали сами. Двигатель приспособили.

— А как оборотные средства?

— А вот как: завели кузницу и пошли на ташгыпский базар ведра, вилы да топоры разделявать. Во дворе из старой трубы устроили парилку для ободьев. Готовые дрожки выпускаем. Вот и пригодились старики. Не зря все-таки ждали, цеплялись за старое место...

Из контрольной будки нас провожал старик-сторож.

— Вот и мне на старость кусок хлеба. Все осмотрели?

— Все.

— Ну, как?

— Да ничего. Работать можно.

— Во-во! И мы то же самое думаем. Мы ведь сколь годов ждали! Которые около земли, которые в тайге зверя добывали, лес рубили. Летом около плотов рубили. Главное, руда-то прямо наверху. Восемьдесят лет завод работал, а ни одной штольни нету. Прямо лопатами брали. Нешто мыслимо, чтобы к такому месту да рук не приложить?

Старик посмотрел на часы, сорвался с места и тяжело грохнул в чугунную доску.

— Бью вот. Как только артель пришла, сразу и доску из кладовой вытащили. Славно гудит. На поселке люди слушают и чуют: Завод-то!.. Жив!

## КОЛХОЗНИКИ БЕЗ КОЛХОЗА

С каждым пройденным километром пути произведение усть-матурских кустарей нравилось нам все больше и больше. Чудесное изобретение первобытного дикаря служило нам, путешественникам 1927 года, так же честно, как своему изобретателю. Мы плыли дорогой неожиданных открытий и ценных наблюдений.

Впрочем, не обязательно плыли. Случалось и ходить. Лодка и густой прибрежный кустарник, в котором можно ее спрятать, разрешали какие-угодно отлучки в сторону. Этим разрешением мы даже злоупотребляли. Когда понадобилось пополнить запасы продовольствия, мы отправились в Усть-Курлугаш — за несколько километров от Абакана по реке Таштыпу. Об этой деревне нам говорил три дня тому назад зимовщик Максим Кнутиков — человек, сумевший дотащить до Усть-Матура на своих жидких плечах 54 года бродячего батрачества и нищеты. В Усть-Курлугаше у него был сын — единственный наследник всех его мытарств.

Однако, найти Петра Максимовича Кнутикова не так уж просто. Даже несмотря на то, что Усть-Курлугаш — это всего-навсего три десятка домов, прижавшихся друг к другу в застывшей сумятице таштыпских косогоров. Только пятый или шестой опрошенный, наконец, догадался:

— Постой, паря! Да это не Петруху ли ермолаевского спрашивают?

— И впрямь. По фамилии он действительно Кнутиков.

Прежде чем попасть в Усть-Курлугаш, Петруха Кнутиков работал в батраках у таштыпского купчины Ермолаева. Так ермолаевским он и остался в представлении односельчан.

Но сейчас, в 1927 году, Петр Максимович Кнутиков был уже хозяином. За три года он заработал у Ермолаева избенку и дворишко, ухитрился как-то вырастить своего конька и на нем перевез прошлым летом недвижимое имущество в Усть-Курлугаш. Движимое пришло само. Чета Кнутиковых — оба вчерашние батраки — впервые почувствовали себя дома.

Но и только.

Они были из тех, кто безрадостно тянул свою лямку в единственной надежде — дотянуться до средней жизни. Своя лошадь и своя избенка — их первая нелегкая победа. И понятно — почему они по десятку раз выбегали ночью послушать, как жует их собственный конь их собственную солому.

А дальше как?

И вот в веснушчатой от плесени избе Петра Максимо-вича Кнутикова мы застали небольшое производственное совещание. Обсуждался вопрос об использовании новенькой косилки Дириंगा.

За кособоким и сутулым столиком сидело четверо — сам Кнутиков, вдова Юшкова и два брата — хакасы Токчанаковы. Старший из братьев выглядел председателем.

Это был весь наличный состав первого в Усть-Курлугаше нигде не зарегистрированного колхоза. Историю его в нескольких словах рассказал один из Токчанаковых.

— Тут и говорить-то нечего. Сама судьба нас лбами состукала. Деревня у нас, можно сказать, зажиточная. хлебная. А мы четверо, как на отшибе. Ни братьев, ни сватьев, ни знакомых. У каждого по избенке, у каждого по лошаденке. Много ли с такого хозяйства жизни увидишь? Чего ты на одной лошаденке сделаешь? А на трех можно. Вот мы и сошлись трое. Вот тебе и артель. А потом Юшкова пристала. Гляди-ка и ладно вышло...

Случилось это к концу прошлого года — первого года самостоятельной жизни Кнутикова. Артельщики с осени засыпали в общий амбар семена. Всю зиму пробыли на заработках и купили косилку. Весной все вместе выехали пахать.

— Смеху было в деревне. Тележонка у нас разбитая, сбруя веревочна. Глянут на нас мужики и ржать.

— Псаревы-то... помнишь? — вставил Кнутиков.

— Да и Потылицын Семен ладно же надсаживался.

— Было делов...

Неофициальные колхозники задумались. Юшкова что-то вспоминала, сгоняя на лоб узенькие, ровные морщины. Кнутиков мечтал. И только старший Токчанаков смотрел на всех чуточку насмешливо и упрямо.

Он, очевидно, был головой артели. В таком случае Кнутиков был ее восторженным сердцем.

Но когда мы прямо, в упор задали вопрос:

— А почему бы вам не подбить еще кого-нибудь и не устроить настоящего товарищества? — они ответили не сразу. Сначала переглянулись. И по тому, как они переглянулись стало понятно, что разговоры по этому поводу у них уже бывали.

За всех отозвался Кнутиков:

— Оно бы и можно, пожалуй... Да боязно. Кто его знает—что из этого получится. Мы-то, скажем, вчетвером, каждый для другого на виду. Друг за друга стоим. А которого, не знаячи, возьмешь, — ну и будешь потом за него маяться. Ежели кругом посмотреть, — для нашего хозяйства нашей силы хватит. Больше-то оно и ни к чему. Зачем больше-то?.. Прожить бы, как люди живут.

Тяжело рождался колхозник в Усть-Курлугаше. ♡

Вечером Кнутиков пошел нас проводить за поскотину. Расплавленное своим жаром солнце медленно спускалось по ступенькам легких облаков в тайгу. Белый пар неуверенно взмывал по косогорам. Петр Максимович разговаривал не то с нами, не то с собой:

— Вот и пойми — откуда она, жизнь? Где она начинается настояще и где ей конец? У каждого, я считаю, человека мечтание есть: построить свою жизнь как ни можно лучше. И чтобы так, как самому хочется. По силе своей возможности. А силы-то и нет. И выходит — куда же денешься? Видели вы — наискось от моей избенки дом? Псарева это дом. Богатейший в деревне мужик. Помню я, — весной он проходу мне не давал. Какой, говорит, с тебя человек будет? Куда ты свое рыло суешь? Жил бы свой век за Ермолаевым, не смешил людей. А как обжились мы четверо да машину свою привезли в деревню, — пришел он ко мне. Я даже глазам не верю. Здравствуй, говорит, Петра! И так-то меня нахваливает. Только зря, говорит, с татарами связался, с Токчанаковыми, то-есть. Один-то ты, говорит, куда бы далеко пошел с твоими руками. А тут тебе и капут будет. Обдерут тебя, дурака русского. У них на этом жизнь держится. А я себе думаю—откудова у тебя жалость такая ко мне пошла? И откудова на татар ты вз'елся? Сам-то Псарев от татар в

жизнь пошел. Сколь тут вокруг улусов ни есть, все на него батрачили. И он же все на татар валит. И сколько разов он у меня после был! И все на Токчанаковых натакивал. А если по совести говорить, — может, я с Токчанакова и свет увидел. Парень он бывалый. Всю жизнь в батраках да на заработках. В городе был... Видел всякого. И на язык вострый. Спуску Псареву не дает. Может, с этого его Псарев и не любит. А мне Токчанаков враг что ли?

Кнутиков замолчал. В траве трещали кузнечики и мягко шуршала по гальке река.

— Ну, будьте здоровы! Счастливого пути! Будете когда в наших местах, — заходите! Милости просим.

— Спасибо, Петр Максимович! Авось и увидимся.

Так шла наша дорога. Дорога неожиданных открытий и ценных наблюдений.

---

## АРТЕЛЬ ТОВАРИЩА ТОДРАШЕВА

---

Пахло сыростью и горьковатым дымом костра. Пожалуй, можно было бы плыть и дальше, но к вечеру по Абакану пошли десятки и сотни бревен. Это откуда-то сверху, с неугомонного Джебаша гнали муль, беспорядочный и торопливый. Пришлось остановиться. И во-время. Через полчаса бревна пошли сплошной массой.

В этом году сплав начался несколько неожиданно, когда мы еще были на Горячем ключе. Тогда целые сутки над тайгой плясал отчаянный ливень. Было видно, как тяжелые тучи оседали в кедрч, свивались толстыми жгутами и лились на землю. Казалось, что мокнет насквозь даже камень.

За ночь Абакан поднялся на три с половиной метра. Река разметала приготовленные к сплаву бревна, как солому. Швыряла их на острова, в кусты, протоки. Загоняла в тайгу. На камнях мы потом встречали бревна, сломанные пополам, как лучина о колено. Под крутыми берегами Абакан складывал лес в невероятные пяти-шестиметровые табора.

У людей, работавших на заготовках, опустились руки.

Но уже через день или два по улусам Таштыпского

и Аскызского районов прокатился клич о помощи сплаву. Еще через день сотни людей появились на берегах Абакана. Они-то и гнали сейчас лес в плотях и мулем — в россыпь.

Кажется, мы разложили свой костер удачно. Вот за крутым изгибом реки мелькнул алый флаг, показался дымок, крыша, барак. Наконец весь плот. За ним второй, третий, четвертый... Один за другим они поворачивали в нашу сторону.

— Поносная, бей вправо! Вправо, чорт!

К берегу цеплялись сразмаху. Вместе с канатом перебрасывались люди. Причалные столбы вкапывать некому, и канат бросали прямо на гальку, люди становились ногами на канат. Стоп!

А через пять минут на плотях уже торговал ларек, и толпилась очередь у кухни. На приемном пункте переругивался с фельдшером его единственный пациент. По всему берегу фастянулись костры.

Рядом с нами оказалась группа хакассов и хакассов. Один из них — коренастый и веселый парень — пока разогревался обед, не торопясь, сплетал одну из любимых степных небылиц:

— Вижу я — села на лоб мне муха, ростом с годовалого теленка. Хлопнул я ее ладонью по спине и убил. Снял шкуру. Мяса в ней пять пудов и на четверть аршина сала. Смазал я тем салом свои сапоги. Один-то смазал хорошо, а другой забыл. Потом привязал я коня к белой колоде и лег спать. Проснулся утром и вижу — одного сапога, — немазанного — нет. Кинулся к коню. И его нет. Гляжу — он по озеру плывет. Я думал, что привязал его к колоде, а привязал к шее лебедя...

У костра не стихает хохот. Такие небылицы могут гнаться часами.

Где-то за тальником вспыхивала заунывная хакасская песня. За ней другая — русская.

Мы с удовольствием бродили от костра к костру, пока не натолкнулись на прораба. Рыжеусый добродушный великан пригласил нас к себе на плот. Там в дощатой каюте, под полом которой плескалась вода, мы пили чай и, конечно, разговаривали о сплаве.

Нас интересовали хакасссы. Прораб с удовольствием каялся:

— Откровенно говоря, я думал, что никуда они на сплаве не годятся. Пришло их ко мне сотни четыре сразу. Вот, думаю, не было печали... И что же вы скажете? Прошло дней пять или шесть — глазам своим не верю... Я вам про сапоги расскажу. У нас с сапогами беда. Народу ж мы столько не ждали. Сапог нет. И с собой не все принесли. Так вот вчера один новичек из таких мнется на берегу, — не полезу, говорит, без сапог. Русский. И бац, подлетает к нему хакасс — парнишка Тодрашев: надевай мои, лезь! Тот, понятно, спрашивает: а ты в чем будешь? — У меня, говорит, другие найдутся. Откуда, думаю, у него другие? А он это, видите ли, для красного словца загнул. А сам без всяких сапог, босиком...

— А то есть тут в одной артели повар—Афанасий. Подкладывает он в бачки кашу и глядит — как бы кто голодным не остался. Заботливый старикашка. Глядишь, все-то он шлепает пимами по плоту. А то с плота на берег за дровами. Для него ребята каждый день с утра подкладывают доску, чтобы ног не промочил. Так вот, когда этим самым ребятам приходится туго, старик бросает свои пимы под нары и идет к ним на выручку.

— Тодрашев, про которого я вам рассказывал, целую артель из молодежи сколотил — тут у него и парни, и девушки. И такая артель получилась, что я ее на хвост поставил. А это самый ответственный участок. Когда весь лес уже ушел, они должны сбрасывать оставшиеся бревна с берегов, разбивать заломы и табора. По норме полагается скатывать за день с берега в воду по гальке на расстояние в десять метров сорок бревен на человека. Они скатывают по сто. Нехватало одно время для них лодок. Из положения они выходили так: становились на конец бревна, топили этот конец и... дуй на ту сторону!

— Боевые ребята. Разбирали как-то табор. Не табор, а груды смятого леса. Бревна летят через головы, как поленья. И вдруг кто-то охнул. Придавило ногу. Ему говорят: ступай в барак! А он: отвяжись! Некогда! Из таких ребят толк будет.

После чая прораб показал нам на берегу Тодрашева. Он оказался тем самым парнем, который рассказывал у костра небылицы.

Артель его уже укладывалась спать, а он подсел к соседям и что-то выспрашивал.

— Попов! О чем это вы тут? — заинтересовался прораб.

— Да вот Тодрашев все пристаёт, насчет лесозавода рассказать просит. Интерес у парнишки. Должно, поступить хочет. Ему в улус ворочаться надо бы, а он плывет и плывет. До самого, говорит, Усть-Абаканска дойду.

Тодрашев почему-то стащил с головы шапчонку и смущенно улыбнулся.

— Не я один ведь! Другие идут, и я иду.





**КЛАСС ПРОТИВ КЛАССА**







## РОЖДЕНИЕ „МАЛ-ХАДАРИ“

---

### В С Т Е П И Д У Л В Е Т Е Р

---

Беспокойная метельная зима 1930 года. Ошалелый ветер вдоль и поперек избородил бурьянные просторы. Как айна — дух ненависти и вражды, метался он над притихшими улусами. Вся в снежной пыли, словно в белых судорогах, корчилась степь.

Который час уже плурует берегами Камышты старый Камыс. И все еще не может добраться до улуса. Ему кажется, что он сбился с пути. Он вообще сейчас сбился с пути, старый, никому ненужный Камыс Санзараков. Одинокое дерево боится ветра, одинокий человек боится народа. А сейчас Камыс все время с народом. Для чего это нужно? И чего хочет от него хозяин? Никогда до этой зимы не вспоминал Панон Катаев старика. Конечно, старость требует к себе уважения.

Но почему именно сейчас? И вообще что делается сейчас на Камыште?

Совсем еще недавно в этом уголке Хакассии задавали тон и распоряжались именитые родовые баи. Их улусы далеко вокруг славились своим богатым травяным раздольем. На каштановых почвах здесь буйно разбрасывались с весны легкие ковыли, мягкий клевер, люцерна, вероника, донник, костер. Круглый год байские пастухи перегоняли с угодий на угодья тысячи коней, овец и коров.

— Чьих?

— Вот эти — Доможаковой Татьяны, эти — Доможакова Муклая, эти — Катаева Панона, Болганова Майрука, Сафьянова Павла...

На родового бая Катаева Панона работало 18 батраков. Свой скот он примеривал на-глазок:

— Овец тысячи четыре. Коров, должно быть, пятьсот...

До сих пор старые мясники — минусинцы, спекулянты — скупщики шерсти из Ачинска и ямщики, десятилетиям лет гонявшие «вольную», поматывают сокрушенно головами:

— Эх, и жили же тут люди!

— Жили! Но какие?.. — Кому, как не старому Камысу, знать их?

Доможаков улус — это не только два-три Доможаковых, которые не в силах сосчитать свой скот, но и десятки Доможаковых бедняков и батраков, еле прикрытой отрепьями голи. У одних Доможаковых лоснились от жира щеки, у других всю жизнь гноились пропыленные глаза. Их никогда немытое тело раз'едали струпья, щедро посыпанные вшами. Как не водиться вшам в рубахах, менявшихся однажды в три-четыре года?

И вдруг на всю степь известные улусы, теперь уже не улусы, а колхоз, колхозных «Мал-Хадари».

Колхозных! Вот слово, которое повторялось в улусах и утром, и вечером. Колхозных, колхоз. Было восемь улусов, стал один колхоз.

Но Камыс все-таки недоумевают:

— Колхоз — это хорошо. А почему в улусах все осталось попрежнему?

Ничего не понимает старый батрак. Откуда ему бы-

до знать, что тут произошла ошибка, и что эта ошибка на языке «левых» загибщиков звучала, как победная реляция:

— Район сельхозартели «Мал-Хадари» коллективизирован на сто процентов!

В артель принимали всех подряд, лишь бы побольше — и батраков, и бедноту, и середняков, а вместе с ними Доможакову Татьяну, Доможакова Муклая, Сафьянова Павла, Болганова Майрука, Катаева Панона.

Баи вошли в колхоз вместе со своими батраками. Но далеко не со всеми своими стадами, отарами и табунами. Правда, часть своего скота они обобществили. Зато какую часть!

До зеленой весенней травы еще не мало должно было растаять снега и утечь воды, а колхозный скот уже таял от болезней и бескормицы. Зараженный байским скотом, опаршивевший, чесоточный, он еле держался на ногах. Целыми сутками голодно блеяли овцы и мычали больные коровы около улусных пригонов.

— И это называется колхоных?

Мало ли о чем передумал старый Камыс, пока не мелькнули в белом тумане огни Усть-Камыштинского улуса, огни правления колхоза.

Здесь, в конторе, Камыс забился в самый дальний и самый темный угол. В избе было душно. Густой табачный дым тянулся в черные стекла, в старый проваливающийся потолок. Забился старик и слушал.

Панон, хозяин Камыса, говорил спокойно и уверенно. Как будто он не говорил, а читал газету. Когда его сосед — горячий Майрук — не выдерживал наплыва мыслей и выбрасывал собранию свою желчь:

— Вы скажите мне, если вы стали такие умные, для чего мне колхоных? Пусть сотрутся следы его прихода и пусть останутся следы его ухода! Скажите вы мне, с каких это пор медведь стал братом корове?

Панон отвечал один за всех:

— Чего ты кричишь? Знай много, а говори мало. Какая для тебя разница, что ты будешь колхозником?

У Панона твердые мысли, твердые планы, твердые расчеты.

Все гуще клубился махорочный дым в избе, все неспокойнее становился говор, пока не скрипнула, наконец, дверь и не выросла на пороге знакомая фигура

Михаила Спирина — уполномоченного райкома партии. Борьба за школу в Хазын-Гюле оказалась для него не плохим пробным камнем, и он становился популярным в степи партработником. За Спириным перешагнул порог тот, кого ждали в этот вечер, — таинственный ленинградец, двадцатипятилетний.

— Ээнь, аргыстар! Здравствуйте, товарищи! — пробормотал он первые заученные на чужом языке слова.

— Ээнь, аргыс! — нестройно ответили притихшие колхозники.

Спирин открыл заседание. Ленинградец напряженно слушал. Он не понимал языка, но чувствовал, что Спирин говорит о нем.

— Ну, аргыстар, — закончил уполномоченный свою речь, — кто же хочет сказать что-нибудь нашему гостю?

Собрание промолчало.

Спирину пришлось еще и еще раз повторить свой вопрос. Наконец, отозвался сосед Камыса Торат Тутатчиков. Путаясь на каждом слове, он рассказал о своем и Камыса недоумении:

— Скажи, друг, почему никогда раньше в наших улусах не болел скот? Ну, болел, может быть, один какой-нибудь барашек. А сейчас все стадо запаршивело, подойти страшно...

Ни ленинградец, ни Спирин ответить, конечно, ничего не смогли. Спирин только пообещал, что приехавший гость займется этим делом в первую очередь.

— Кто еще хочет сказать?

И опять молчание.

Тогда заговорил Олон Шадрин. Его тоже интересовал вопрос о колхозном стаде. Когда думают выгонять его на выпасы? Раньше в это время скот уже ходил где-нибудь за горами, а сейчас топчется вокруг улуса, где не осталось ни одной травинки...

Больше говорить никто не хотел.

Тогда взял слово один из Доможаковых. Его голос привычного оратора мягким туманом пополз по избе. Он говорил, как заправский революционер, он обвинял, он доказывал, что много положенных вещей и быть не может, если в ячейке будут такие люди, как Васька Чугунеков — бывший шаман.

Спирин вспыхнул:

— Васька шаманил с голоду месяца три. Это верно. А сколько лет он был батраком у Кулугашева! И кто его избивал до полусмерти, как не Доможаковы вместе с Кулугашевым? И почему он стал шаманишь, темный, забитый батрак? Кто его заставил, чорт возьми? Тогда били, а теперь добивать хотите? Бросьте свои кулацкие штучки!

Ленинградец слушал.

Так колхозных «Мал-Хадари» встречал своего будущего руководителя.

---

## В УЛУСАХ — РАЗГОВОР

---

Это был митинг, затянувшийся на всю посевную страду. Колхозники «Мал-Хадари» ходили из юрты в юрту и глотали айран, как свежие новости и свежие новости, — как айран. Новости же были похожи одна на другую и повторялись из утра в утро:

— Опять колхозная овечка сдохла!

— Как бы коня зарезать не пришлось! Кончается.

И резали баранов, коней, коров. Резали больных, резали здоровых.

— Все-равно пропадут!

Никогда не были так гостеприимны Доможаков Мукалай, Болганов Майрук, Катаев Панон. На пасху они поили улусы с утра до утра. Капал теплый бараний жир на грязные кошмы. Звякали чашки.

— Что будет? Не осталось степи, в которой не росла бы береза<sup>1</sup>, не осталось улуса, в котором не ходила бы беда! — качал головой хозяин. — Что будет? Тысячи были скота у меня. Был и у вас скот. Пропадет у вас, — у меня возьмете. А сейчас? Где сейчас возьмете? Пропадет скот — пропадет колхозных. Разве болел у нас скот в прошлом году? И кто теперь поможет? Русские? Они умеют только хвастать. Ха, пропадать, так пропадать! Чем отдавать в руки злону, лучше положи на дорогу добром. Лучше с'едим сами. Выпьем, нанджилар. С праздником!

А вечерами по юртам ходили усталые, мокрые люди. Приходили они прямо с полей.

---

<sup>1</sup> Одно из старых хакасских преданий связывает появление березы в степи с появлением русских.

— Сидите, язва-лар? Пахать некогда, а пить время находится?

В юрте отвечали:

— Пахать? С которых пор в наших улусах стали пахать? Скот извели, так думаешь на пашне от'ехать? А на чем ты пахать будешь, когда последняя лошадь содохнет? О чем думает ваша ячейка?

— Постой, ты скажи, отчего лошади дохнут? Ты скажи, кто нам паршивых коней подсунул? Кто шелудивых овец дал? Не Доможаков ли? Не Катаев ли?

Агитаторы выходили на задворки юрт и там указывали пальцами на заржавленные плуги, таскали за собой людей на выгон и показывали отощавший скот:

— Ты скажи: чья это работа? Ты скажи: колхоз виноват, или они виноваты?

И тут же на песке чертили кнутовищем замысловатые диаграммы.

— Смотри, что будет!

Сырыми весенними ночами в степи маячили кони. По дорогим кованным седлам всадников узнать было нетрудно. До самого утра метались они из улуса в улус.

Зачем?

В самый разгар сева двое из них привезли в правление колхоза две пачки заявлений. Хохловский и Тутатчиковский улусы почти целиком выходили из колхоза. На другой день еще два всадника привезли еще две пачки заявлений из Сафьяновского и Доможаковского улусов.

---

## К Л А С С   П Р О Т И В   К Л А С С А

---

Лошади сбились в кучу и дремали, уткнувшись мордами в плетень. Все гуще становятся сумерки. Все крепче тянет сыростью по траве. Стонут за рекой коростели.

Заседание ячейки подходило к концу. Отчитывался Манзырь.

— Почему ушел Тутатчиков улус? Улус не ушел, ушел Тутатчиков Олах. Остальные не знают — ушли они или не ушли. Если Олах скажет: ушли, значит, ушли. Если Олах скажет: остались, значит, остались. Эта

старая собака кормит их подачками и они думают, что кроме Олаха им никто ничего не даст.

У ленинградца по лицу пробегает тень. Из глаз, покрасневших от усталости и бессонных ночей, кажется, вот-вот брызнет густая, горячая кровь.

— Так по-твоему распустить колхоз что ли?

Манзырь молчит.

— Кто говорит распустить? Зачем распустить? — закипает Тутатчиков Торат. — Они придут!

— Когда?

Тутатчиков повернулся к ленинградцу:

— Может быть через месяц, а может быть завтра. Откуда я знаю день? Но я знаю свой улус. Я знаю все улусы по Камыште. Где мы выросли? На крыльце байской юрты. Здесь кормились, здесь и учились. И еще ты пойми: в твоих деревнях кулак батраку не брат и не сват, а тут — то племянник, то дядя, то чорт его знает кто. А все-таки придут! Раньше они меня слушать не хотели, а теперь слушают. И его слушают, и меня слушают. Посмотрим, чья возьмет. Даром что ли воюем четвертый месяц?

— Какой следующий вопрос? Чесотка...

Докладчик коротко сообщает, что чесотка кончается. Зараженный скот отделили и загнали на дальнюю ферму.

Возражать было некому. Тем более, что все устали. Всем хочется спать. Действительно, четвертый месяц подряд актив спит на-ходу.

И вдруг из-за плетней донесся торопливый топот коня. Через минуту в правление колхоза как-то боком протискался старик Камыс.

Собрание насторожилось.

— В чем дело, аргыс Санзараков?

— Ты мне скажи, как это так: я — колхоз и Пانون — колхоз? Я на него всю жизнь спину гнул, а сейчас он мне товарищем будет? Какой он мне товарищ? Был хозяином и остается хозяином. Мутит собака.

Собрание не сразу нашлось что ответить. Только секретарь возбужденно выкрикнул:

— Наконец-то!

Через день в комнате правления «Мал-Хадари» братья Сергей и Апах, захлебываясь, рассказывали, как

их старший брат — бай Сафьянов Павел подкупает бедноту, как собирает по ночам улус и говорит против русских, против колхозов, против советской власти.

Сначала по ночам, а затем и с утра у конторы колхоза все чаще и чаще останавливались кони. Со старых, залатанных седел соскакивали утомленные всадники. Сюда, в колхоз, они несли свою вековую обиду. Сюда несли они свою ненависть.

Впервые в улусах класс открыто встал против класса.

---

## Л Е К Ц И Я В С Т Е П И

---

Тяжелый рыдван дребезжал и всхлипывал всеми четырьмя колесами. Очевидно, он сочувствовал. Или, может быть, пытался возражать. Напрасно. У Мишки — задания, не терпящие никаких дискуссий: шестьсот снопов в день. И вот он лежит на своем возу, как несомненный триумфатор, — эта поездка была уже сверхплановой. Отчего бы ему и не спеть старую ласковую песенку:

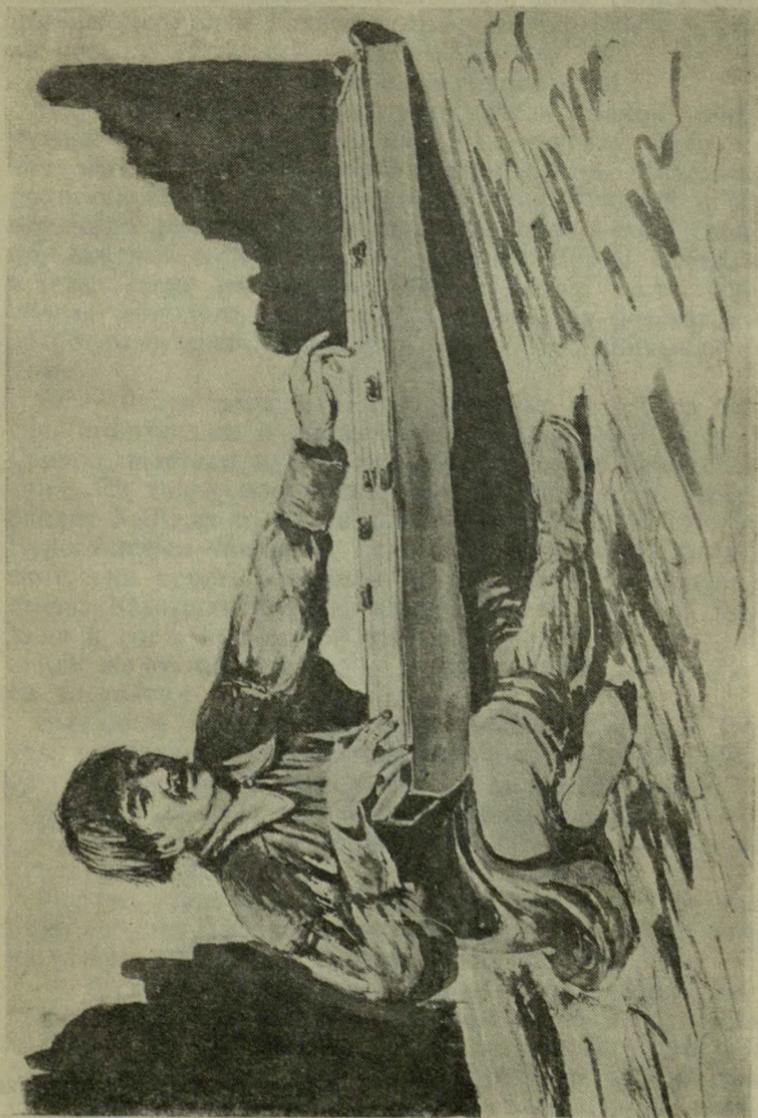
Песенку, которую ты поешь,  
Я возьму и перевяжу белою ниткою.  
Песенку, которая на твоих губах,  
Я возьму и перевяжу сишею ниткою.

Когда Мишка проезжал мимо правления, он так выкрикнул: «Но, шагай!», что его слышала вся Усть-Камышта.

А вечером он был центром внимания всего необычного клуба усть-камыштинской молодежи.

Клуб, в самом деле, не совсем обычен.

Когда все восемь улусов — восемь дробных единиц, составлявших «Мал-Хадари» — навсегда проводили из степи добротные байские рыдваны с их хозяевами, в старых аалах на несколько дней наступила тишина. Кое-кто чувствовал растерянность. Кое-кто покачивал головой и не знал — радоваться ему или горевать. И так как все одинаково привыкли к постоянным сходкам, к митингу, затянувшемуся на все лето, то все и стали поглядывать на Усть-Камышту. Каждый вечер из улусов трусили к правлению колхозные кони.





**ЧАТХАНИСТ**

Рисунок хакасского художника-самоучки Г. Аткина.

Улусные затяжные вечерние беседы превращались в ежедневные общеколхозные совещания.

Тогда-то в правлении колхоза и родилась мысль — устроить общежитие молодежи.

За улусом на выезде облюбовали дом. Комсомольцы и комсомолки подряд недели две скребли и чистили его.

— Хо! Раньше в такой избе голова жил!

Но в первое же время председатель колхоза обнаружил, что в общежитии никто не ночевал. Заго вокруг него был расквартирован целый лагерь. Молодежь принесла с собой полушубки, войлоки, сундуки и все это было разложено и расставлено около стен. Однако, войти в дом никто не решался. Летом ночевать в доме было непривычно. И вот далеко за полночь сидела молодежь у костра за песней, за рассказами, за боевыми воспоминаниями, пока не привыкла к дому.

Вспоминать было чего! Выброшенные из улусов байские подголоски и воры братья Сафьяновы Самой и Санков налетали на мал-хадаринские стада из-за Абакана. Из тайги наскакивал бывший шаман, а теперь бандит Хыйлых со своим подручным, кулацким сыном Чудогашевым Митькой. Если не удавалось отбить скот, они просто калечили его. Тогда на просторных степях Камышты премели выстрелы и на день-два уходила в горы колхозная погоня.

Как же не послушать, — о чем говорят вернувшиеся из тайги?

Выходила на костры и единоличная молодежь. Потом потянулись колхозники постарше. Тогда темы разговоров становились и совсем разнообразными.

Выплывала над курганами громадная луна.

— Эй, Мартас! Ты не помнишь, откуда взялись на луне такие пятна?

Мартас, конечно, помнит. Он помнит все, что помнили его отцы и деды. Он складывает поудобнее ноги на чужом войлоке и начинает сказ о Чельбигене:

— Тогда Чельбиген жил на поверхности земли вместе со всем черноголовым народом. Он был завистлив и жаден, и никто не мог пройти мимо него, так как он не успевал насытить своего голода. И так как он с'ел страшно много народа, то солнце и луна стали

советоваться между собою — как бы Чельбигена вытащить наверх. «Спустишь ты, солнце! — говорит луна. — Достань сюда Чельбигена!». «Нет, — отвечает солнце, — если я спущусь, то земля сгорит от моего жара на семь сажен глубины. Спустишь лучше ты, луна!». А луна говорит: «Если я спущусь, то вся земля замерзнет на семь сажен глубины». Солнце говорит: «Ну, и что же? Люди как-нибудь обойдутся, а от холода не пропадут». И тогда луна спускается. Как-раз одна женщина шла с ведрами за водой и Чельбиген бросается на нее, чтобы с'есть. Женщина хватается за куст. Луна забрала тогда и Чельбигена, и женщину, и куст. Женщина так и осталась с тех пор на небе, и в хорошую погоду мы видим ее на луне вместе с ведрами!

Ленинградец — председатель колхоза — смеется.

— Хорошо рассказываешь, старик! А не слыхал ли ты, откуда, на самом деле, пошла луна?

— Расскажи, товарищ председатель!

Молодежное общежитие на полчаса-час превращается в лекционный зал, если можно назвать залом широкую камыштинскую степь, густо заросшую ковылем, люцерной и донником.

---

## К О Н Е Ц   С Т А Р Ы Х   У Л У С О В

---

Через месяц или полтора после этого по всей хакасской степи — от пригородного улуса Сапоговского и до таежного Усть-Чуля — побежала самая большая, самая удивительная, самая интересная в этом году новость. В истории «Мал-Хадари» случилось самое невероятное событие.

И Доможаковский, и Сафьяновский, и Катаевский, и четыре других соседних улуса — действительно перестали быть улусами. Запрещали под топорами и баграми древние юрты и зимние хибарки. Из всех семи улусов, со всем своим немудреным скарбом на старых, скрипучих дедовских телегах, доживавших последние сроки службы, потянулись колхозники к восьмому улусу Усть-Камыште.

На старом пепелище оставались только загородки да плетни, да две-три юрты, которые пожалели разворо-

тить старики-хозяева. Так они и маячат до сих пор в степи, догнивающие памятники феодального средневековья.

После памятных для Хакассии тридцатого и тридцать первого годов я был еще раз. Я проехал всю область с севера на юг и с востока на запад. И повсюду мне встречались эти наглядные пособия для изучения хакасской старины. Еще чаще я слышал разговоры о них.

Осколкам разбитого байства, остаткам минусинского купечества и кулачья такие развалины казались удобным сырьем для агитации. Повернувшись спиной к ра-стущему колхозу, они пытались выдать на каменном лице подобие великой скорби и начинали свои длинные и нудные воспоминания о Доможаковых, Сукиных и Спириных, о тысячных их стадах, о шумной жизни, о якобы вообще разрушенном благосостоянии Хакассии.

— Тишина-то... как на кладбище... О, господи!

Совсем не то вспоминали люди, сами бросившие эти нищенские юрты, нынешние колхозники, совхозники, шахтеры, учителя, партработники... Они навсегда оставили здесь, вместе с древними юртами, бессмысленную и тупую жизнь...

О чем было им жалеть?

О брошенных вшах? О конских копытах, трижды вываренных в хазане?

Ну, и хорошо, что тишина, как на кладбище, что никогда не взорвет ее больше ни грубый хозяйский окрик, ни глухой деревянный грохот шаманского бубна!

Разве только иногда вечером донесет сюда ветер звонкую песню из ближнего колхоза!..

Ну, и хорошо!

Нечего жалеть здесь бывшим пастухам.

Вот почему мал-хадаринцы выезжали из семи своих улусов в восьмой — Усть-Камышту с красными лентами на дугах, с веселым гомоном, который слушала вся степь от пригородного улуса Сапоговского и до таежного Усть-Чуля...

Колхозники ехали строить на новом месте новые, светлые и просторные дома, новую, светлую и просторную жизнь.

✓ И первым домом, который они построили, была школа.

В это же самое время, почти в этот же самый день на другом конце Хакасии затрещали под топорами юрты старого Кобяковского улуса. Это навсегда выезжали в Усть-Фыркал длинным обозом под красными флагами, вместе со своим руководителем Халтаром Копчегашевым, колхозники Кобяковской сельхозартели «Алтын-Чуль» — Золотой ручей.

Так рождался «Мал-Хадари» — один из многих, точно таких же колхозов Хакасской области.

И вместе с «Мал-Хадари» — колхозом (с большой буквы и в кавычках) рождались для новой жизни сотни и тысячи мал-хадари (с маленькой буквы и без кавычек), то-есть скотоводов, пастухов. Таков точный перевод этого слова с хакасского языка на русский.

## СНОВА НА ЗОЛОТЕ

---

### ТРИ ЦИТАТЫ ПО ПОВОДУ

---

Копьево — это, кажется, самая захудалая и самая грязная станция Ачинск-Минусинской железной дороги. Но далеко не самая безлюдная. Едва ли она помнит такую почву, когда в ее крохотном пассажирском зале не ночевало бы несколько десятков человек. И кого только не перевидал этот зал!

— Золото! — Вот слово, которое не перестает звучать в запыленных и закопченных стенах станции, в каждой хибарке пристанционного поселка. Заманчивое слово!

Еще библейские сказки повествуют о какой-то загадочной стране Офир, куда со всех концов земного шара сходились корабли за золотом. О золоте упоминают древнейшие письма Халдеи, Вавилонии, Финикии, Индии. Под развалинами старых перуанских храмов до сих пор находят золотые плитки. Испанские конкистадоры вырезали десятки тысяч туземцев Америки в поисках сказочной страны Дорадо. Древнейшие мексиканцы считали золото священным и похищение его каралось смертью. С самого начала своего открытия золото видело кровь и слышало молитвы. Чем дальше, тем больше.

«Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих, — та-

кова была утренняя заря капиталистической эры производства» (К. Маркс).

Вечерняя заря этой эры выглядит еще безотраднее. К счастью, уже не надолго.

«Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира. Это было бы самым «справедливым» и наглядно назидательным употреблением золота для тех поколений, которые не забыли, как из-за золота перебили десять миллионов человек в «великой освободительной» войне 1914-18 годов» (В. И. Ленин).

Но сегодня мы этого сделать еще не можем. И в той же статье «О значении золота прежде и теперь» Владимир Ильич писал:

«Но как ни справедливо, как ни полезно, как ни гуманно было бы указанное употребление золота, а мы все же скажем: поработать надо еще десяток-другой лет с таким же напряжением и с таким же успехом, как мы работали в 1917-21 годах, только на гораздо более широком попреще, чтобы до этого доработаться. Пока же: беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле».

И вот на захудалой станции Копьево еще и сейчас, в 1931 году, толпятся люди, собравшиеся сюда со всех концов Сибири. И вот в ее крохотном пассажирском зале все еще не стихли разговоры о золоте.

Но как эти разговоры не похожи на те, которые я когда-то слушал в старых, околоприисковых деревнях. Здесь о золоте говорили так же, как на станции Яшкино говорят о цементе или на станции Белово — о цинке.

Копьево — это база Саралинских золотых приисков.

---

## Г Л А В Н Ы Й                    С Т А Н

---

От станции Копьево до главного стана приисков около ста километров. И очень нелегких километров. Прямо от гаража дорога бросается зигзагами в степь, потом вертится около холмов, плутает у озер и вдруг врезается в тайгу и долго кружит там долиной реки

Саралы, пока, наконец, не начнет взбираться в Подвинскую гору. А взбираться нужно на высоту в 400 метров. Машина пыхтит, выбиваясь из сил. Наконец — перевал, передышка и она начинает сползать вниз, готовая вот-вот сорваться и полететь, сломя голову, вперед, пугая подвернувшиеся по пути обозы.

Говорят, что по этой дороге проехать без приключений довольно трудно. Не знаю, насколько это верно вообще, но в первую же свою поездку мы, действительно, угодили на приключение.

О нем нас предупредил всадник на неоседланной лошади, чуть не попавший под наш автомобиль. Он скакал за помощью. Пришлось поторопиться. Дорогой всадник рассказал, что их машина налетела на подгнившие перила и вместе с ними угодила с мостика в овражек. Но так как она была нагружена полушубками, то публика отделалась сравнительно благополучно: несколькими царапинами и одним вывихом. Если бы перевернулись мы со своими бочками бензина, было бы много хуже.

Откровенно говоря, я почувствовал себя отомщенным. Дело в том, что с пострадавшим грузовиком должны были уехать и мы, два журналиста. Но в последнюю минуту приисковый диспетчер, смущенный чьими-то синими глазами, галантно уступил их обладательнице мое место. Мой спутник из чувства солидарности остался со мной.

Минут через пятнадцать мы оказались на месте происшествия. У проходившего обоза мобилизовали все наличные вожжи. И часа три под проливным дождем вытаскивали из овражка машину и полушубки.

В конце концов старый дребезжащий форд встал на мостик, дернулся три-четыре раза, пробуя свои силы, и пошел.

— Не привыкать! — засмеялся шофер.

Обе машины одна за другой тронулись вперед. Фары выхватывали из темноты то мощную лиственницу, то кедр, то кусты черемухи над Саралой. В их ослепительном свете деревья и кусты как-то теряли свой объем и становились до смешного похожими на старенькую декорацию провинциального театра. Когда фары вздрагивали на ухабах, вместе с ними колыхал-

ся и выхваченный из темноты кусок тайги. Совсем как на холсте.

А дождь все лил и лил. Дорога расползалась. Машины еле двигались. Опытные соседи утешали тем, что зимой бывает еще хуже.

Зима на Сарале — не шутка. Целыми неделями носятся над Саралой безудержные ветры. Они до крыш забрасывают снегом приисковые поселки, рвут провода, бьют стекла.

Каждый год на горе, изрытой штольнями Трансваальского рудника, нависает густой седой бровью десятиметровый снежный пласт. Так до самой весны и сутулится он над обрывом, пока, наконец, не сорвется с оглушительным грохотом вниз. Три года тому назад такой обвал подмял под себя целую смену в раскомандировке. Тогда же придавило избушку старого горняка Хайдара Шагаева. Сам Шагаев уцелел, а жена и ребенок погибли.

С тех пор обвалы пока не повторялись. Каждый год перед весной взбирается на гору запальщик с динамитом и снежный пласт обрушивается вниз не тогда, когда ему придет пора, а когда его заставят.

Надоедливы зимы на Сарале. Старожилы вспоминают год, когда с начала сентября и до середины марта выдался один единственный безветренный спокойный день. Но и в остальные годы бывает не многим лучше. Что ни день, то приходится вести новые тропы к штольням. На дальних работах их даже и не прокладывают, забойщики просто остаются в раскомандировке от выходного дня до выходного.

Темпы наших дней требуют короткого удара. Они вспарывают таежную глушь, как перфораторы — плотную глыбу диабазов. И вот в невероятный буран автотокеры, форды и амо приисков, пока хватало их железных сил, чуть выбиваясь из сугробов, шли своей широкой грудью от Копьева на Главный стан. Шоферы ехали с лопатами. Мотор и деревянная лопата! Один из курьезов таежного быта. Однако, курьез вполне оправданный и почти необходимый. Когда мотор захлебывался от бессилия, водители машин вылезали из кабинок и прокладывали путь лопатой.

Вместо трех-четырех часов шли трое-четверо суток. Ночевали в кабинках. И все-таки шли, пока, наконец,

буран не засыпал дорогу так, что не только лошадиных сил мотора, но и героического напора деревянных лопат оказывалось недостаточно. Тогда машины покорно останавливались в снегу и уже потом, недели через две, приходили люди и откапывали их с саженной глубины.

Часов в 12 ночи наши машины гремели, наконец, по мощеной улице Главного стана.

Главный стан — это поселок, неизвестно почему брошенный в долину Саралы, именно сюда. Тут нет ни прииска, ни завода. Просто выбрали площадку для административного центра и заселили.

Три года тому назад, здесь еще бегали по старому колоднику спокойные бурундуки и редкий всадник топтал горные тропы, пробираясь на заброшенный прииск. А сейчас, через три года, по улицам Главного стана гуляют девушки, остриженные под «чарльстон», и торопятся на работу служащие с портфелями в руках.

В нескольких шагах от гаража неуклюже выпирает из кустарников единственный на Главном стане двухэтажный дом. В нем расположен штаб всей общественно-политической жизни района: сверху — райком партии, внизу — типография и редакция «Саралинского горняка».

В райкоме отчаяннейший холодище. Ветер пробирается в комнату, как будто к себе домой. В простенках застывают темные потоки воды. На полу — лужи. В кабинете заворга кто-то заботливо поставил два старых ведра, и в них меланхолически льется через крышу дробный осенний дождь.

В коридоре виснет на древнем телефонном аппарате секретарь райкома комсомола. Он уже охрип:

— Андреевский!.. Андреевский!.. Рудник!.. Да что вы, оглохли что ли?.. Андреевский!..

Заворг невесело улыбается:

— Дернуло этого Эдиссона телефон выдумывать! ✓

И продолжает уже серьезно:

— Вода, грязь, телефон, который молчит... Это все чепуха. Людей вот нет. Просишь-просишь. А работы до дьявола. Вот сейчас прорыв, надо мобилизовать массы, а с кем, спрашивается?.. Конечно, безлюдье — не отговорка. Понимаю. Но ведь от этого не легче.

Жалобы на недостаток работников, кажется, не лишены некоторого основания. Об этом можно судить хотя бы по самому заворгу. Он в эти дни исполнял обязанности и секретаря райкома, и культпропа. А культпроп здесь по совместительству — редактор газеты.

Но когда заворгу понадобилось наглядно изобразить одно из затруднений, он взял листок бумаги и набросал разрез самой большой штольни Ивановского рудника. Несмотря на безлюдье и совместительство, райкомовцы неплохо овладевали техникой производства.

Второй центр Главного стана — производственный — химическая лаборатория. Снаружи это небольшой, преждевременно состарившийся дом. Внутри он сплошь заставлен колбами, ретортами, фарфоровыми чашечками. В нем 13 рабочих, включая заведывающего и лаборанта.

Гвоздь производства — плавильная печь — какой-то тихий инвалид, искрошенный огнем. У печки трудно устоять. Огонь через трещины выбрасывается наружу. Но стоять приходится — пробы нужны нарасхват. Тут результаты летних разведок, первые руды вновь открытых жил. Поэтому и в десять часов вечера, и в два часа ночи одинаково ярко смотрят на улицу освещенные окна.

Но зато какие цифры! Годовой план лаборатории определялся в 8.000 проб, и он был выполнен к 1 августа. Приняли встречный — 4.000. Но уже 1 октября в книге лаборатории значилось 4.300 сверхплановых проб.

---

## ЗАМЕТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

---

Писанной истории не найти. Остались только анекдоты. Кто помнит первых людей, натолкнувшихся на саралинские рудники? Жадные на золото и скупые на слова, они приходили и уходили молча. А большинство оставалось навсегда.

Достоверные сведения есть о шестидесятих годах прошлого столетия. Есть еще следы мрачных, похожих на тюрьму, построек.

С россыпями Саралы случилось то же, что со всеми остальными на свете. Промышленники, как саранча. Но саранча с'едает все, а промышленники, — что получше.

Та же история с рудными месторождениями. Заниматься ими стоило: плотные порфиры и диабазы на Сарале, кварцевые монцениты и диофриты в Чебаковской группе приисков крепко держали в себе золотокварцевые жилы. Кристаллы перита, халькоперита, пиротина, серебристые кубики свинцового блеска и цинковой обманки говорили о недюжинном содержании золота. Но промышленники не изменили системе. Они выбирали жилы с содержанием в 7-8 золотников металла на 100 пудов руды. Все остальное бросалось.

Вот почему ожившие в 1927 году Саралинские рудники сначала обосновались на старых жилах. Но разведки минувших лет показали, что Сарала далеко еще не разработана.

Вот где они отыскивались, старые горокопы, которые бродили по тайге в поисках золотых ручьев, не отмеченных ни на каких картах! И карты найдены. Только не те, старые, которых никто не видел, но о которых все слышали. Нынешний план разведок обсуждался на производственных совещаниях.

Ивановский рудник обогатился жилой «Спящей», иначе — «Дед Бакай». Эту жилу подозревали давно, а найти не могли. Ударник дедушка Бакай по 14-15 часов проводил на горе каждый день. Он перевертывал каждый подозрительный камешек. Жилы не было. Ее уже называли «Спящей»: слишком долго она спала для производства. Но дед Бакай в конце концов до нее добрался. «Спящая» стала «Дедом Бакаем».

На Веро-Надеждинском нашли «Старо-Туманную» жилу, на Андреевском — «Пролетарку» и «13 Октября».

Около рудника «Коммунар» (когда-то Богомдарованный) открыли «Пятёрку», «Ударную», «Встречную», «Штурмовую».

На руднике Знаменитом — «Пионер». Ее нашли пионеры. Отыскивали признаки золота и принесли отцам. Отцы — инженеру.

На Случайном искали всем рудником. Рассыпались по гольцам и цепочкой двигались с одного на другой. В цепи инженер Калинин, как хороший врач над

большим, — над каждым подозрительным камнем. Выстукивал, выслушивал.

Похоже на золотую лихорадку. Но совсем другого порядка, чем раньше.

1931? 7 ноября должна пойти теплостанция. Мощность — 480 киловатт. На Ивановском ее ждут шесть неработающих перфораторов. Чаши бегунно-амальгамационных фабрик, вместо 13-15 оборотов в минуту, дают 8-9. Компрессор Трансваальского рудника час работает, два стоит. Три новых компрессора совсем не работают.

Строили все лето. Соревнование.

Комсомольцы, с инженером Кочубеем во главе, побивают старых монтажников.

Сейчас проводят линию высокого напряжения. Уже морозы. Чтобы сэкономить время, взяли с собой палатки. В ведрах — горячие угли. Озябнет на столбе ударник, ему поднимают на веревке ведро. Ночуют там, где застанет работа.

Завтра, за три дня до срока, подвешат последний метр провода из пятнадцати километров.

Механическая мастерская Туманного стана. Мастер Грибков предложил заменить привозные составные втулки своими целыми со стальными наконечниками. Но бюрократы есть и в тайге. Полгода уговаривал. Зато теперь мастерская выпускает свои втулки для перфораторов. Не верится, что их можно было сделать в такой полукустарной мастерской.

Токарь Харитонов, продолжая опыты Грибкова, сконструировал специальный фрезерный станок.

Еще изобретение. Старик-приискатель Чепурных заменил лошадей лодками. Лодка, нагруженная рудой, бежит по канату прямо от штольни вниз и своей тяжестью поднимает по канату же пустую лодку вверх. Пока одну нагружают, из другой выбрасывают руду. Выгодно и просто.

Так старый горокоп становится молодым пролетарием.

Трансваальский рудник. Штольня № 2. Потеряли жи-лу. Забойщик Горбачев бьет перфоратором тяжелую глыбу. Торопится. Но Горбачев хочет курить. И вот:

он говорит соседу: залезь ко мне в карман, достань папироску. Тот достает. Горбачев закуривает, не отрываясь от перфоратора.

---

В раскомандировке все ругают Павлова. Говорят — лжеударник. Свалил всю работу на учеников и вертит хвостом по руднику. Горбачев обещает под горячую руку «разбить ему морду перфоратором». Его поддерживает молодой парень. А Павлов огрызается: давно ли ты работаешь? Горбачев вступается — хоть и недавно, но ударник настоящий.

---

Весь вечер думал, где видел молодого, но настоящего ударника. Наконец, вспомнил. Это тот самый парень с черной бородкой, который плыл с нами по Абакану. Вот тебе и «неподходящий для рабочего класса человек».

---

Ивановский рудник. Здесь очень много разногласий. Тем более, когда появился мистер Фолтер. На скважину, отнимавшую у бурильщиков два-три часа, ему достаточно 18-20 минут.

Десятники ворчат. Боятся новых норм. Учиться не хотят, а у Фолтера договор только на два месяца.

Первым на выучку пошел нацмен Ахманов. Вот уже две недели, как не отходит от Фолтера.

Маленький предметный урок. Ослабла гайка. Ахманов, как и все раньше, вынул перфоратор и начал «ремонт». Фолтер одной рукой подхватывает перфоратор, а другой подкручивает гайку. Перфоратор не перестает работать. Только и всего.

---

Сегодня Ахманов за смену вместо 5 скважин дал 12.

---

Утром в раскомандировке техник с отчаяния швырнул на пол фуражку. Бурильщиков заело.

— Даешь встречный!

Постановили: вместо 24 метров проходки в месяц дать 60.

Такой нормы проходки Саралинские прииска не знали никогда.

---

Лучшая бригада на Ивановском руднике — комсомольская хакасская. Живут они все в одном бараке.

Бригадир Тайдонов Кирилл вместе с братом Борисом выпускает в бараке стенную газету. Это первая барачная газета на Сарале. В ней каждый день дают сводки. Это подтягивает.

## БРИГАДИР ХАКАССКОГО ЗАБОЯ

Говорят, что на Сарале свой собственный климат. Даже не климат, а климаты. На каких-нибудь двадцати километрах здесь за один день можно познакомиться с самой потрясающей сменой погоды. На Главном стане стоит еще сырая таежная осень, а за четыре километра отсюда, на Трансваальском руднике — зима. Еще три километра дальше, и на Ивановском — уже зима с буранами, с трехметровыми сугробами и засыпанными тропами. А в десяти километрах от Ивановского — на Терси — творится что-то совершенно невообразимое. Можно подумать, что ветры всего Кузнецкого Алатау собрались сюда на состязание. В конце октября люди по поселку ходили на лыжах и по утрам соседи обменивались таежной любезностью — откапывали друг друга из-под снега. Остается неясным — как же выбираются из своих хибарок первые, которым приходится откапывать сначала самих себя?

Без проводника свежему человеку по Терсинскому руднику не пройти. Для того, чтобы попасть в хакасский барак, пришлось обойти несколько кедров, засыпанных снегом уже до середины, пройти где-то около крыши самого барака и, наконец, нащупать в белом сумраке яму, в которую нужно было прыгнуть.

Внутри барак ничем не отличался от нескольких сотен таких же точно бараков, разбросанных по золотым приискам. На приисках всегда строят немножко наспех. Кто знает, что будет с рудником через два-три года? Исчерпали золото — и конец.

Низенькие потолки, стекла, сбитые из осколков, и раз'ехавшиеся во все стороны половицы. По всему барaku протянута мокрая спецодежда. Сушить ее приходится каждый день около железнушек.

Железнушки! За свои поездки с рудника на рудник я проникся искренним уважением к этому несложному источнику теплоэнергии. Длинными зимними вечера-

ми вокруг железушки в бараке собираются три или четыре семьи. И тогда начинаются удивительные разговоры. Раньше это были сплетни и глухая ругань. Теперь у железушек устраивают производственные совещания и читают газеты. Или, как на Ивановском руднике, пишут заметки для своей собственной барачной стенновки.

О чем только не говорится вокруг железушек! Каких только воспоминаний не слушаешься за два-три часа! Вообще говоря, есть ли еще на свете такие люди, которые могли бы так эффектно щеголять своим невероятным прошлым, как золотоискатели?

Но на этот раз мы не вспоминали.

Бригадир хакасской бригады Андрей Кочкин говорил о сегодняшнем дне. Кочкин жаловался:

— Вот люди! Видите бабу? Чуть ходит. А кто виноват? Я ей каждый день говорю, — кто виноват? Неделю две тому назад ей пришла пора родить. Ей говорят: оставайся здесь, пойдем за доктором. Где там! Разве она будет родить с доктором? И убежала в тайгу. Так полагалось раньше. Нельзя было родить в юрте, где есть мужчина. И вот дура родила в тайге. Сама-то кое-как осталась жива, а ребенок умер.

И Кочкин сокрушенно качает головой.

Я спрашиваю:

— Говорят, что хакасы на производстве работать не могут, что они привыкли к степной жизни, к скоту. Правда это? ✓

— Кто говорит, что хакасс не может работать? Бай говорит. Бай, конечно, не может работать. Бай никогда не работал. Многие хозяева не работали. А батрак все-равно работал. Когда скот, когда дрова, когда пашня. Все работал. Ну, и сейчас работаем поменьше.

Кочкин поднялся, посмотрел на ходики и заторопился.

— Однако, мне пора.

— Куда?

— Партийное собрание сегодня.

По стенкам той же ямы мы кое-как выбрались снова в метель.

Несколько слов о том, как Андрей Кочкин подал заявление о вступлении в партию.

Как-то весной на Терсинском руднике появилось об-

явление об открытом партсобрании. В повестке дня одним из пунктов стоял перевод из кандидатов в члены партии. Переводили троих рабочих, в том числе хакасца Янгулова.

Кочкин пришел на собрание.

И вот, когда Янгулов стал рассказывать о себе, он по-хакасоки что-то крикнул ему с места. Янгулов ответил. Тогда Кочкин снова крикнул. И все хакасы, которые были в комнате, зашумели. Янгулов, взбешенный, отошел к окну.

Президиум потребовал, чтобы Кочкин вышел к столу и сказал все, что знает, но уже по-русски. Не прошел он и полпути, как Янгулов оказался за окном. В тесноте этого не заметили.

Кочкин рассказал собранию о своей первой встрече с Янгуловым. Тогда Кочкин был в красном партизанском отряде, Янгулов — в белой банде бая Кулакова.

Потом они встретились как-то на станции Шира.

— Он говорил, что сдался. Ну, думаю, пусть! Может, человеком будет. Может, пользу какую принесет. Я молчал и другие молчали. И здесь его видел — молчал. Я бы сегодня тоже молчал. Да слышу, — врет. Говорит — бедняк, бумажку показывает. Вот думаю, каким он стал! В партию обманом хочет. Чорт возьми! Не обманешь. Я тебе докажу, какой ты бедняк.

✓ Янгулова на приисках больше не видели.

Впрочем, число кандидатов партии на Терсинском руднике не уменьшилось: место Янгулова занял Андрей Кочкин.

И это было как-раз то, что нужно.

---

## АБАКАН—ГОРОД

---

### ПЕРЕД КАРТОЙ БУДУЩЕГО

---

Чем дальше от Копьева, тем выше и причудливее горы, обступившие рельсовый путь. По их ровному снежному насту рассыпаны лиственницы, словно по белой скатерти фантастическая вышивка, набросанная привычной рукой небрежного, но большого художника. Однако, любоваться ими, как прежде, нельзя. Поезд идет почти добросовестно. Новая дорога уже освоена.

К вечеру мы оказались на станции Абакан.

Впрочем, было еще достаточно светло для того, чтобы поражаться. Где когда-то сменяли друг друга ямы и овражки, там тянулся по степи новый город. Конечно, это не совсем то, что мы привыкли называть областным центром. Он был уже велик для того, чтобы оставаться пристанционным поселком, но еще мал для того, чтобы стать настоящим городом.

Я переходил с улицы на улицу, с площади на площадь. Над крышами распластался туман, похожий на густой молочный кисель, из которого забыли вытащить старую, пожелтевшую от времени ложку — солнце. Только пыль, замешанная снегом, да пикульник, да еле заметные в тумане горы, окружившие станцию слегка разорванным кольцом, оставались теми же в этом уголке Абаканской степи. Здесь действительно строится город. Город без прошлого и без традиций.

Впрочем, кое-какие традиции уже создавались.

Освещение в Абакане вполне электрическое, но какое-то домашнее. Обыватель шутит, что если лампочки мигнули раз, — значит станция вызывает монтера, если лампочки мигнули три раза, — самого заведывающего станцией.

Само собой разумеется, что городу многого не хватает. Ну, хотя бы бани, театра, кино, хорошей культурной столовой, удобно оборудованной гостиницы...

Я лично предпочел остановиться в редакции. Кстати, там уже существовало небольшое содружество бездомных. В городе мало места не только приедем. Три-четыре сотрудника редакции занимали жилплощадь там же, где работали. И под утро редакция превращалась в небольшой ночлежный дом. Именно под утро. В этом я убедился в первый же день.

Вечер начался заседанием областной плановой комиссии.

Пока в комнату сносили со всего двухэтажного дома исполкома стулья и скамейки, докладчик — высокий, сутулый инженер — педантично раскладывал по столу бумаги, записные книжки, чертежи, прикреплял к стене тщательно отделанную схему Абакано-Енисейского промышленного комбината.

Начал инженер суховаго:

— Приенисейско-Абаканская мульда представляет собой синклинальную складку, вытянутую в северо-западном и юго-восточном направлениях...

— А ты бы попроще как-нибудь! — перебили с места.

Докладчик прищурился, подумал, кивнул головой и перешел на цифры.

— Запасы каменного угля только на площади Черногорки, Изыха и Калягиной — в 600 квадратных километров — исчисляются в 14 миллиардов тонн. А по мнению профессора Коровина, угленосное окружение Абакано-Енисейского бассейна занимает территорию в 3-4 тысячи квадратных километров, и запасы угля у нас неизмеримо больше.

С угля инженер начал не даром. Это — крупнейшее ископаемое богатство Хакасии и прекрасная база для развития паросилового хозяйства области, химической промышленности и промышленности коксующихся углей.

— Наша вторая энергетическая база — Енисей. Подсчитано, что около Кривого поворота можно получить до миллиона киловатт-часов, при себестоимости энергии в полкопейки за киловатт-час.

Затем о черной металлургии. И здесь Хакассия может похвалиться исключительно благоприятными условиями. К концу 1931 года удалось разведать более или менее детально три железо-рудных месторождения: Абаканское, с запасом в 30 миллионов тонн, Тейское — 65 миллионов и Ирбинское — 20 миллионов.

К этим цифрам докладчик добавил:

— Надо оговориться, что запасы руды при более детальной разведке вырастут. Уже сегодня мы знаем еще три месторождения — Сыдинское, Камыштинское и Кызырское. Все они прекрасного качества и находятся на расстоянии не более 200 километров от центра угленосного района.

И, наконец, медь и золото. По данным разведки нынешнего, 1931 года, медно-рудные запасы области исчисляются в 816500 тонн. При чем опять-таки большинство месторождений осталось неразведанным. Но и без этого Хакассию можно считать одним из крупных медно-рудных районов Советского союза.

Докладчик повышал голос:

— Год тому назад хакассские медно-рудные месторождения считались нестоящими внимания. Вообще наши богатства почему-то очень мало известны...

В этом месте следует сделать небольшое отступление. Через два года после этого доклада, в Новосибирске я видел физико-политическую учебную карту СССР, изданную в 1932 году Вторым всесоюзным картографическим трестом ГГУ НКТП и допущенную научно-методическим советом по учебно-картографическим пособиям. И вот на такой-то авторитетной карте, испещренной сотнями значков, обозначающих наши ископаемые богатства, на долю Хакассии пришелся только один значок — железо. Угля в Хакассии издатели карты не заметили, несмотря на то, что уголь здесь не только давно известен, но даже и разрабатывается. Хакассия по богатству своих медно-рудных месторождений стоит на одном из первых мест в Советском союзе, а на карте медь помечена где угодно, только не в Хакассии.

От меди докладчик перешел к золоту, свинцу, алебастру, мрамору, доломитам...

Давно уже истекли все сроки, предоставленные регламентом, а он все еще перебирал цифры, бережно перекладывая с места на место справки и цитаты. В эти минуты он был похож скорее на голубоглазую героиню тургеневских романов, перебирающую письма любимого человека, чем на официального докладчика геолого-разведочной базы.

Впрочем, трудно было сказать, кто больше охвачен волнением — докладчик или слушатели. Вот он перешел к схеме и несколько десятков человек последовали глазами вслед за ним от стола к стене. Инженер уже перечислял:

— Водородная установка, бумага и картон, сухая перегонка дерева, шпалопропиточный завод, завод огнеупоров, бензин, керосин, смазочные масла, сода, шлако-бетон, магний, алюминий, медь, гидро-турбинный завод, инструментальный завод, синтетический каучук, мясохлагокомбинат, суконная фабрика, сахарный завод, кожевенный комбинат... Вот будущее Хакасии!

Председатель контрольной комиссии, как поставил перед собой палку, сложил на нее руки и подбородок, так и оставался в этой позе. Слушали одинаково напряженно и секретарь областного комитета партии, который знал эти цифры не хуже самого докладчика, и приезжий председатель колхоза — хакасс, который слышал их в первый раз.

И вдруг в моей памяти возникла, как возникают в рассеивающемся тумане очертания знакомых с детства, но забытых улиц, — одна картина:

Глухая, сумрачная юрта. С почерневшей лиственничной коры густыми хлопьями свисает копоть. Старые бревенчатые стены отдают гнилью. С тихим звоном гаснут в очаге рассыпанные угли. И старик в полушубке, накинутом прямо на голые плечи, шепчет, подбрасывая в огонь прутики, как искупительную жертву:

— Ради жилищ для своего народа! Ради травы, чтобы росла на черной земле! Ради хлеба, чтобы рос для нас! Чтобы не дули на степи ветры! Чтобы не знала нас беда! Чтобы не расплескивалась полнота! О тэр, зебо!

Неужели все это было?

## ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

Закончилось заседание в десятом часу. Закончилось, как и началось, выступлением инженера. Остальные вопросы пришлось отложить. Во-первых, после такого доклада трудно было говорить о чем-нибудь еще. Слишком уж много оставил он впечатлений. Во-вторых, предстояло дело, хотя и другого характера, но того же порядка, порядка борьбы за новую Хакассию. Собрание почти в полном составе перешло из здания облисполкома в железнодорожный клуб: посмотреть и послушать олимпиаду самодеятельных национальных кружков.

В программе вечера была небольшая пьеса, выступление чаттханиста, песни, частушки, сказ.

Я встречал десятки сказочников и певцов в степи. Бывало, что за сказками засиживались под-ряд две-три ночи. И я знал, какой широкой и шумной популярностью пользовались они у себя в улусах... Но только в этот вечер я впервые по-настоящему почувствовал, что значит искусство.

Шла небольшая пьеса «Талас» — «Борьба». Пьеса незамысловатая: схватка между баем и однокостником бедняком. Завершалась схватка победой бедноты. Не совсем удачная пьеса. В работах первых хакасских писателей еще чувствовался налет былого интеллигентского национализма. Поэтому бедняк и комсомольцы, действующие в пьесе, выглядели бледно и убого. Это были не люди, а статьи из последних номеров «Хызыл Аала», поставленные на ходули и наряженные в пестрые национальные костюмы. Зато бай был великолепен! Старая богатырская фигура. Он даже в своем поражении казался победителем.

К счастью, классовый инстинкт зрителя побеждал недостатки пьесы. И было неизвестно, — где, собственно, разыгрывалась драма — на сцене, или в зрительном зале. И там, и тут одинаково кипели вековые степные страсти, сконденсированные великим 1930 годом в один потрясающий взрыв.

Потом пели девушки. Пели, как у себя в улусе, обнявшись и мерно покачиваясь в такт своей песне. Песня была старинная, давно пережившая свою пеструю молодость и одинокую старость.

Есть ли такая гора,  
На которую не поднялась бы кабарга?  
Есть ли такой человек,  
Который вырос бы без забот?  
Есть ли такая гора,  
На которую не поднялся бы олень?  
Есть ли такой человек,  
Который вырос бы без мучений?

Затем девушки спели уже современные частушки.

Последним выступал сказочник — чаттханис с неожиданным для всех собравшихся репертуаром. Он лениво втащил на сцену свой громоздкий инструмент — длинный ящик, на котором натянуты струны с подброшенными под них костяшками. От того, как быстро передвигал их чаттханис, менялся странный дребезжащий звук инструмента.

Сказка начиналась древним запевом:

На вершине белой горы я пролил золото,  
Пусть оно выльется из земли!  
Многочисленной толпе народа я спел песню.  
Пусть она слушает ее!

Много скота ходило у баев берегами быстрого Абакана. Много скота ходило у баев берегами светлого Уйбата. Назовите мне такую гору, на которой не паслись бы байские стада! И белые, и синие, и черные кони были у пай-кизы. Были у них и коровы, истекающие сладким молоком, и быки, ходящие по их следу. Были у них овцы с густой нечесанной шерстью, жирные и бегающие толпой. А много ли скота водилось у бедного, у чох-кизы? Имел ли он больше одного коня, на котором ездил за своим богатством и никогда не мог доехать?

Разве не у бая была земля и разве не бай сеял ячмень и пшеницу? А бедняк собирал карлык и ел его вместо хлеба. Чох-кизы тоже хотел бы сеять и пшеницу, и ячмень. Но кто ему дал бы коня, чтобы пахать землю? И никогда не ложился спать чох-кизы с сытым желудком.

И никогда не стал бы бедняк сытым, если бы не услышал о нем однажды большой человек в Москве. А он, однако, услышал и позвал к себе тысячу, а может быть и больше рабочих. Позвал и говорит им: есть на Абакане, и на Уйбате, и на Черном, и на Бе-

лом Июсах, черноголовый народ, который называется хакассами. И есть еще у этого народа много чох-кизы, которые хотели бы сеять пшеницу и ячмень, но у них нет коней, чтобы пахать землю. Давайте, сделаем и пошлем для них коней из железа, которые не устают и работают днем и ночью.

Тогда рабочие вернулись к себе и сделали хакассам железного коня. И большой человек послал того коня черноголовому народу.

Вот видят хакассы — появилось в степи черное облако с западной стороны. Поднялся от этого облака сильный ветер. От этого ветра сгибаются макушки больших деревьев и ломаются. Старые крепкие юрты шатаются из стороны в сторону. Но это было не облако, а железный конь, которого русские называют трактор. Дыхание трактора, как сизый туман, покрывает черную землю. Поступь его такова, что дрожит и жалуется земля.

Увидели чох-кизы железного коня и радуются: вот какого могучего коня посылает нам большой товарищ. Увидели пай-кизы железного коня и печалются: это большой человек посылает нам смерть.

Тогда послали пай-кизы самого храброго своего бая убить коня. Взял он свое старое ружье и выехал на Сахчах-гору, которая закрывает небо. Увидел храбрый бай железного коня — трактор и взялся за свое ружье. Взялся, а поднять не может. У него отсохла правая рука. Он в гневе взялся за ружье левой рукой, и у него тогда отсохла левая рука. И увидели тогда пай-кизы, что большой человек заговорил железного коня своим большим словом.

На вершине синей горы я пролил серебро.

Пусть оно выльется из земли!

Многочисленной толпе народа я пел песню.

Пусть она слушает ее!

---

## ПРОХОДЯ ПО КОМНАТАМ

---

Давно уже кончился вечер. Давно заснул Абакан. А в двух домах на площади, в тех двух домах, которые вмещают в себе все основные организации Хакасской области, люди еще не спали.

✓ В комнате облКК-РКИ тов. Бибиков ходил из угла в угол и горячился:

— Я еще до них доберусь!

— Да что случилось-то?

— Как что случилось? — и тов. Бибиков приводит иллюстрации.

— Два хакасса-охотника... дайте вспомнить фамилии... Аев и Доможаков пришли из тайги на Черногорские копи. Два дня ходили из конторы в контору, от одного бюрократа к другому, и за два дня никто не мог их не только взять на работу, а даже накормить. И они ушли опять к себе в тайгу.

Вторая иллюстрация: на руднике «Юлия» какой-то администратор из недалёковидных решил всю вину за прорыв свалить на недостаток перфораторов.

— А почему нехватает перфораторов? — спрашивают рабочие.

— Дорого стоят! — отвечает администратор. — А у государства сейчас денег нехватает.

И вот рабочие подряд шесть выходных дней выходили на работу и весь заработок за эти шесть дней передали в рудком на покупку перфораторов.

— Конечно, нельзя было так ставить вопрос. Но уж если какой-то умник поставил, то надо было с этими деньгами что-то сделать. А они, оказывается, полгода пролежали в рудкоме. Кажется, их успели даже растратить.

Разговор незаметно переходит на коренизацию — один из самых больных вопросов области. Коренизация разворачивалась не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, в той громадной толпе людей из улусов, которые шли в Абакан на руководящую работу, нередко можно было рассмотреть человека, осторожно прячущего за чужими спинами свое классовое лицо.

В другом конце коридора управделами перебирал одну за другой папки и докладные записки. Он делал выборки к докладу.

✓ За дверью тихий говор. Секретарь обкома тов. Сизых слушает доклад заместителя заведывающего Ас-кызским райколхозсоюзом. Тот сутулится и говорит почти шопотом. Он выдвиженец и на работе всего только третий или четвертый месяц. В райколхоз он

попал почти прямо от Александра Алексеевича Чудогашева — моего случайного знакомого из Усть-Еси. Не поэтому ли он до сих пор сутулится и говорит, не глядя в лицо собеседника?

В тот момент, когда я вошел в комнату, он говорил о «Мал-Хадари». Таким докладом нельзя было не заинтересоваться.

В первый же год существования колхоза было засеяно 540 гектаров хлебов. Как будто не так уж много для 119 дворов. Но если взять в сельсовете старые документы и книги да подсчитать, что в прошлом году засеивалось только 60 гектаров, то цифра 540 будет выглядеть очень и очень внушительно. Ведь это 900 процентов!

Еще тверже успехи мал-хадаринцев в животноводстве. Крупного рогатого скота было обобществлено в свое время 982 головы, а сейчас стало 1.813, да государству передано 350. Овец уже не 2.440, а 5.400. Осени же, после укомплектования, стало и еще больше — 8.000. Прибавилось и лошадей — 429 вместо 350.

Колхоз может похвастаться двумя большими товарными фермами — овцеводческой и молочного скота.

Отстроено три кошары, три скотных двора и два телятника.

За образцовую постановку животноводства колхоз получил премию — четырёхсотрублевого племенного быка. В избе-читальне «Мал-Хадари» хранится районное красное знамя. Недавно колхозники распределяли мануфактуру, выданную им тоже в качестве премии за брынзоварение. Год тому назад над первыми доярками овец колхозные весельчаки хохотали, поджимая животы, а сейчас доится 2.000 овец.

В Мал-Хадари объединено 96 процентов всех бедняцко-средняцких хозяйств всех восьми улусов.

Партячейка выросла с 3 до 17 человек, комсомольская — с 4 до 28..

Во втором часу я вернулся, наконец, в редакцию. Там только-что кончилось собрание и публика еще не расходилась. На столах и на полу валялись гранки, газеты, обрывки бумаги. На одном из них можно было рассмотреть какой-то цветок, призванный изображать, очевидно, розу, и под ним несколько бессвязных слов, выведенных тонким женским почерком: «розы... как

хороши, как свежи... как свежи были розы... розы...» Поперек всего листка размашистым мужским почерком была наложена резолюция: «Не потому ли у нас и дело стоит на месте?».

Редактор правил письмо из улуса. Правил он, по своему обыкновению, вслух.

Это было одно из тех писем, которые можно встретить только в редакциях. Автор его пишет, даже сам не зная — зачем. Ему нечего разоблачать, ему, по существу, не о чем сказать. Но сказать хочется. Тысячи новых чувств и ощущений выпирают из него. И вот он берет первый попавшийся клочек бумаги:

### ЖИЗНЬ ПРОХОДИЛА В ЧАДНОМ ДЫМУ ЮРТ

Нам, хакасы, тяжело жилось в царские времена. Были мы одной из самых забитых, самых отсталых народностей царской России. Жили в большой Абаканской долине реки, заключенной в объятия березовых рощ. Были юрты разбросаны серые и скучные, голые, грязные, как тело дикаря. Единственным украшением в наших юртах были уродливо страшные шаманские божки. Жизнь наша проходила в сером, чадном дыму, и ненавистен был у нас труд. А жалкие крохи, которые давала нам земля, распределялись попу и уряднику. А то еще давай дары за лечение шамана, режь сотни голов баранов для жертвоприношения. Над нами глумились. Какое может быть учение инородцев? Газет мы никогда не видали... Так и проходила жизнь в невежестве. Так было до тех пор, покуда не пришла Советская власть.

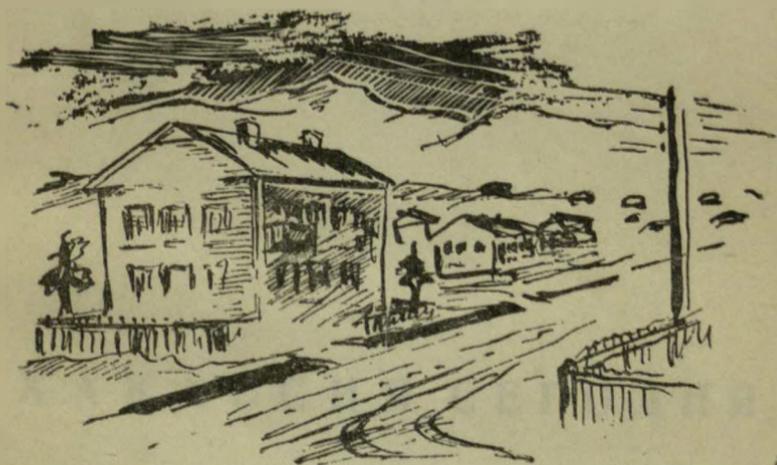
Р. И. Майнагашев.

Я вышел на площадь. Все также кружился по улицам ветер, швыряя в лицо пыль и снежную крупу. Было видно, как подпрыгивали по дороге черные хлопья перекати-поля.

Город спал.

Но эти два дома — дома обкома партии и облизполкома — штаб культурной революции в степи — долго еще не уснут. До самого утра будут они отбрасывать свет на темную площадь, на пучки замороженного ириса.

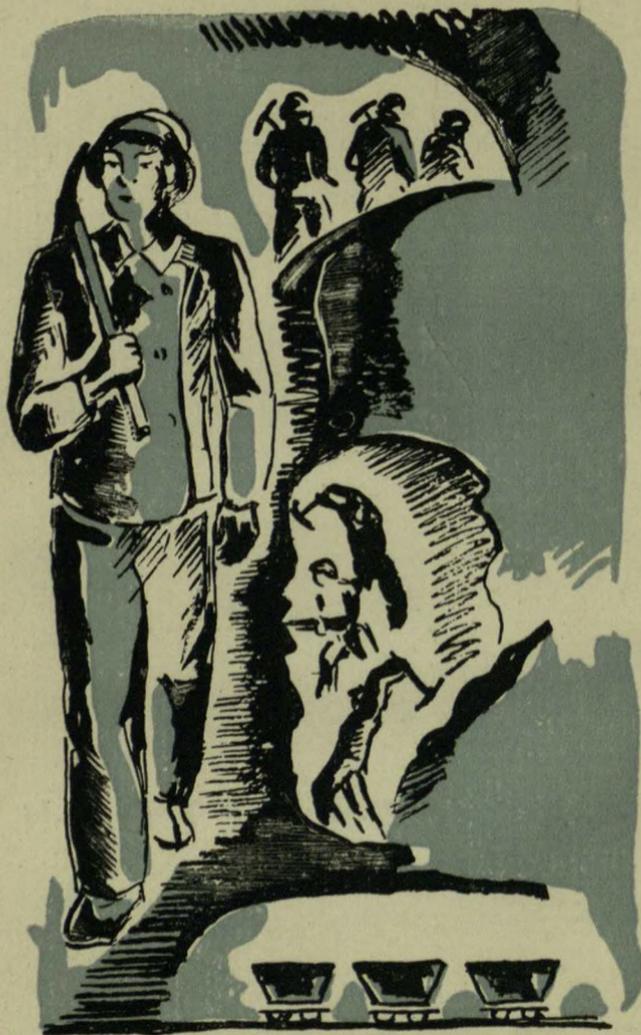
И было почти видно, как свет этот бежит далеко, за десятки и сотни километров, в горы и степь. Там сейчас также, наверное, бьется и кружится ветер, бьется и кипит ожесточенная борьба еще неокрепшей советской молодости с озлобленной байской старостью. Там сейчас в хаосе противоречий, под улюлюканье уходящего класса, под хлопки одиночных выстрелов наливается Хакассия буйной, настоящей силой впервые в своей пестрой, многострадальной истории.

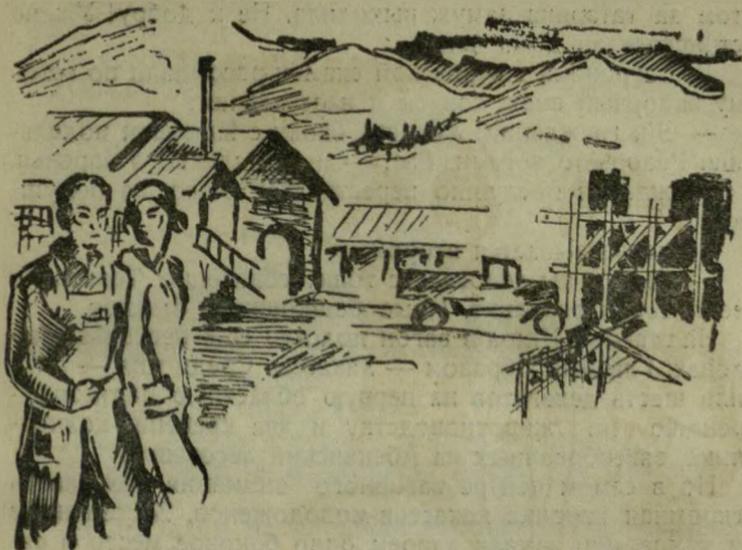




ХАКАССИЯ СЕГОДНЯ







## ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

---

### ВАГОННОЕ ЗНАКОМСТВО

---

✓ Снова осень. Уже 1933 года. И снова вагон прямого сообщения Новосибирск — Абакан. Но прошли те времена, когда десяток пассажиров скромно рассеивались со своими чемоданами, корзинами и мешочками по только-что отполированным скамейкам. Поезд из Ачинска отходил уже не раз в два дня, а два раза в день. И все-таки на станции оставались пассажиры, перед которыми не во-время захлопнулось окошечко кассы. В вагонах нехватало мест.

Однако, горечь посадки в конце концов остывала. Через полчаса на скамьях начинали завязываться осторожные вагонные знакомства, а еще через полчаса все уже знали — кто, куда, откуда и зачем едет.

Плотная домохозяйка в ватном пальто вздыхает:

— Что-то я нынче во сне много мяса видела. А по-

том за татарина замуж выходила. Не к добру! Уж не стряслось ли дома чего?

Два агронома с вузовской скамьи рассыпали по вагону задорный смех, советы и наставления:

— Эй, гражданин! Уберите банку с вареньем подальше. Разобьете ногами. Раз, — и нет сладкого варенья.

Гражданин послушно переставляет банку за подушку.

Тогда вязывается второй:

— Чего ж ты человека с толку сбиваешь? Теперь он ее головой раздавит. Иные башковитые бывают.

На станции Шира в вагон под село еще несколько человек. Главным образом — хакасы. Среди них — пять или шесть делегатов на первую областную партконференцию по животноводству и два крепыша-колхозника, завербованных на Абаканский лесозавод.

Но в самом центре вагонного внимания оказалась скромная парочка хакассов-молодоженов. Застенчивые и тихие, они заняли вдвоем одно боковое место и сидели, обложенные чужим багажом. Но они были молоды, счастливы и, видимо, любили друг друга. Вагон смотрел на них с откровенной завистью людей, переживших свою молодость.

Соседи знали, что они — колхозники из Аешинского улуса, комсомольцы. Но куда они едут?

— Может, от мужа сбежала? — догадалась плотная домохозяйка.

— Такая-то молодая?

— А и что ж? Теперь, голубушка, в четырнадцать лет замуж выходят, а в пятнадцать развода требуют...

В конце концов, было решено, что молодожены совершают что-то в роде свадебного путешествия. Они выглядели для этого достаточно беззаботными.

К вечеру вниманием вагона попытались завладеть ворчливые субъекты сверху. Один из них рассмотрел за окном старый, развороченный революцией улус. Это была жалкая кучка заброшенных хибарок и юрт. Хибарки, как унылые слепцы, безрадостно смотрели на поезд пустыми впадинами темных окон; юрты казались сплюснутыми одиночеством и непогодой.

— Плоды просвещения! — бормотал субъект постарше. — Колхозное строительство. А вы скажите мне,

пожалуйста, куда девались люди, куда девался скот? Ведь сколько в этих местах скота было.

— Скушали, — с готовностью откликнулся второй. — Скушали, и нас с вами в гости не позвали. Посмотрим, говорят, как вы теперь кушать будете.

Собеседники явно искали сочувствия. Но пассажиры молчали. Есть люди, разговаривать с которыми не хочется даже в вагоне. Ворчливые суб'екты были из таких. И только молодой хакасс обронил вполголоса слово, не обращаясь ни к кому:

— Откочевали.

Задумавшись на минуту, он добавил:

— Раньше они шли, куда гнала судьба, теперь пошли, куда зовет сердце.

Я вспомнил «Мал-Хадари».

Поезд входил в горы и ранние осенние сумерки занавесили окна. А на рассвете поезд уже разгрузался в Абакане.

За вокзалом на площади пассажиры рассыпались в стороны. Только молодожены в нерешительности стояли у коновязи. Увидав меня, они дружно взялись за новенький чемодан и шагнули вперед:

— Вы не скажете, как пройти в военкомат?

Я показал дорогу.

— А зачем вам военкомат?

Молодой хакасс словно дожидался этого вопроса и с поспешной готовностью ответил:

— Я—новобранец. Призывался в Шира. И меня назначили в часть. Теперь надо туда ехать. В пограничники. А это моя жена. Проводить хочет.

Он гордился своим назначением, своей молодостью, своей женой. И он улыбнулся ей. Она ему ответила. Только тут я на миг рассмотрел на ее лице мягкое облачко женской грусти. Но у кого хватит смелости бросить ей упрек!

---

## ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

---

Знакомый двухэтажный дом, в котором два года тому назад помещался облисполком, сейчас встретил бы рассеянного посетителя непривычной тишиной и какой-

то домовитостью. У крыльца — куча мусора. За первой же дверью — неистовое брюжжанье примуса. За два года этот дом успел превратиться в скромное общежитие.

Зато в новом доме советов по-старому не переставали хлопать двери, и, как прежде, в каждой комнате бился напряженный пульс неугасающей работы.

Только говорили и думали сейчас во всем доме об одном и том же: о последнем постановлении бюро крайкома партии, специально посвященном хакасскому животноводству.

Не говорить о нем было нельзя. Оно заставляло пересмотреть всю систему привычных, как бы слежавшихся уже отношений областных и районных организаций к колхозам и колхозникам. Оно требовало прекратить чрезмерное, и в условиях Хакассии неоправданное, увлечение сельхозартелью. Оно требовало внимания тоозам и скоту личного пользования колхозников.

Вот почему, когда на трибуну областной партконференции по животноводству поднялся секретарь обкома тов. Сизых, зал встретил его взволнованным вниманием.

Конечно, осенью 1933 года тов. Сизых мог бы очень немало сказать о победах Хакассии и в области промышленности, и в области сельского хозяйства: лучшая шахта Черногорки, дважды краснознаменная, национальная шахта 7-бис из месяца в месяц перевыполняет свой план. Золотодобыча, по сравнению с 1928 годом, увеличилась в пять раз. 72,7 процента хозяйств области объединены в колхозы. Вместе с совхозами они освоили площадь посева в 106797 гектаров. В области сейчас одиннадцать совхозов, три МТС, семь машинно-сенокосных станций.

Но не об этом говорил сегодня тов. Сизых. Не для того, чтобы считать свои победы, собрались на эту конференцию большевики Хакассии. Он задавал притихшему залу вопросы, на которые нелегко и неловко отвечать:

— Почему случилось так, что в Хакассии не оказалось тоозов?

— Почему сорок колхозов области с'ели не только свой скот, но и прирост скота в других 87 колхозах?

— Почему 50 процентов хозяйств в колхозах не имеют никакого скота в личном пользовании? Мы создали фактически такое положение, что незачем было колхознику иметь свой скот.

В руках секретаря обкома небольшая синенькая книжка, записная книжка председателя колхоза «Чаптых-хоных». Три или даже пять килограммов — вот его ежедневная норма расхода мяса на себя.

— Самоеды! — с горечью бросает тов. Сизых.

Конечно, есть и такие колхозы, как колхоз имени Сталина или имени Буденного, которые сумели увеличить поголовье своего скота сверх всяких расчетов и планов. Но не они, к сожалению, делают сейчас погоду в социалистическом животноводстве Хакассии.

Тяжело и волнующе падали в притихший зал слова.

Три дня обсуждали решение крайкома хакассие большевики. Русская речь на трибуне сменялась хакасской и хакасская — русской. Выступали начальники политотделов, секретари райкомов, колхозные пастухи и чабаны совхозов.

О силосе, как десерте, и о жеребенке, как музейной редкости, говорил Шевердин — работник областной контрольной комиссии. О кулаке в должности конюха говорила Анисья Тутатчикова — рядовая колхозница «Мал-Хадари». О кадрах животноводства говорил Шарафутдинов — секретарь Аскызского райкома партии, татарин, ставший волей революции хакассом. О женщине в животноводстве говорила Анна Шалгынова — работница совхоза «Овцевод».

Эти же разговоры повторялись и в фойе железнодорожного клуба.

Фойе пестрело фотографиями, лозунгами, диаграммами. В диаграммах — лошади, коровы, овцы. Они били в глаза цифрами сокращения колхозных табунов и стад. За этот год в Хакассии лошадей стало меньше на 17 процентов и крупного рогатого скота — на 4,1 процента.

А рядом диаграммы побед Хакассии на фронте коллективизации, культурного строительства, на промышленном фронте.

Здесь даже стены говорили о той громадной ломке, которая перевертывала всю до основания степную

жизнь, медлительную и ленивую в прошлом, неподвижную в своей вековой отсталости.

Я помню десятки старых снимков из улусов. На заднем плане — мрачная юрта, и на ее убогом фоне — окаменевшая семья хозяина юрты с обязательными трубками в зубах. Не снимок, а какое-то проходное свидетельство в прошлое. Вся судьба когда-то безмятного народа отражалась в этих фотографических документах: вековая растерянность и приниженность, вековая привычка жить и даже мыслить «руки по швам».

И вот в фойе клуба абаканских железнодорожников с фотовитрины хакасского совхоза «Овцевод» улыбаются зрителям десятки веселых, жизнерадостных лиц. В руке чабанки Богатыревой та же традиционная трубка, но она даже держит-то ее совсем по-другому. В тесной группе, снятой на улице совхоза, смешались хакасы, русские, татары — чабаны, шоферы, политотдельцы.

Рядом — витрина опытной станции. Дальше снова диаграммы. Тут же цифровой отчет лучшего в области национального колхоза «Ударник-хакасс». И вверху плакат:

**«Животноводство во второй пятилетке будет той отраслью, которая должна будет приковать к себе внимание всего рабочего класса».**

**(КУЙБЫШЕВ)**

Кстати, о внимании рабочего класса. Абакан отметил областную партийную конференцию демонстрацией. Конечно, Абакан к числу населенных пунктов СССР с населением свыше ста тысяч человек не относится. Но демонстрация получилась внушительная. Разве только что зрителей было мало — все были в рядах демонстрантов. На главной улице их встречал всего-на-всего один карапуз с флажком. Черноглазый и бронзовый — истый внучек своего народа, он с нескрываемым восхищением провожал проходившие колонны. А когда с ним поравнялись школьники, карапуз потерял всякое равновесие и скатился с трибуны на дорогу. Вы-

брав кочку повыше, он встал в торжественную позу и кричал что-то восторженное и непонятное.

Всечером в столовой за столиками делегаты рассказывали друг другу любопытнейшие вещи. Например, о колхознице Макаровой — из артели «Красная сог-ра».

— Выбрали ее, понимаешь, инспектором по качеству. И попади ей бригада, в которой муж. А муж, надо сказать, в совершенстве ленивый человек. Она и бухни в правление бумажку: нам, дескать, лодырей не нужно. Тот на дыбы. А потом видит — дело плохо, и с повинной. Так эта самая Макарова при всем правлении берет лодыря-мужа на буксир и... смотри, — говорит, — замечу еще раз, пощады не жди!

Здесь же родилось и соревнование двух лучших колхозов Ширинского района — колхоза имени Буденного и «Хакасстар».

Родилось оно почти случайно. Кто-то за соседним столиком упрекнул Шпикельмана — председателя колхоза им. Буденного — в шовинизме. Шпикельман обиделся.

— А кто здесь нацмен? Хакассов-то здесь порядочно, а еврей я один.

Делегаты рассмеялись и разговор на несколько минут перешел на национальные темы. Говорили уже не о самом Шпикельмане, а о колхозе, которым он руководил.

Колхоз этот вырос в старой казацкой станице — Форпосте, ныне Соленом озере. Станица когда-то считалась боевой. Семьи Кожуховских, Веселовских, Терских, Соловьевых в свое время не мало поставили в царскую армию младших и старших урядников, хорунжих и есаулов. Именно отсюда вышел знаменитый в свое время бандит Соловьев.

Не один десяток лет привыкал Форпост поглядывать на соседние улусы и деревни с высоты казацкого седла. Главным занятием станичников было скотоводство. И частенько скотоводство крупное. У казака Терских бывало по несколько сот лошадей.

Сеяли в Соленом озере еще за год до конференции только пять хозяйств.

Вторым, не менее прибыльным, занятием станицы была охрана золотых приисков. У форпостовцев, ка-

жется, не было оснований жаловаться на своего хозяина-золотопромышленника Иваницкого. Он знал — кому стоит заплатить подороже. Зато и у хозяина не было оснований жаловаться на свою собственную жандармерию. Охраняли форпостовцы его золотое добро со старанием и усердием. Вот почему казаков знала вся дорога от Форпоста до приисков. Тем более их помнил Аешинский улус, лежавший как-раз на полпути и связанный с приисками. Нет ничего мудреного в том, что отцы и деды теперешних колхозников аешинцев и соленоозерцев были когда-то заклятыми врагами. Одни — не выходили из вечной кабалы, другие — винтовкой и нагайкой помогали купчине-золотопромышленнику утверждать эту кабалу.

Прошлое ушло безвозвратно. Нет и не будет Иваницких. Выгнаны казачьей беднотой и середняками кулаки, помогавшие Иваницким делать бедняка и середняка своим слепым орудием. Обновленные огнем революции казаки и хакасы — уже не враги. Былую дикую национальную вражду сменило социалистическое соревнование между говорящими на разных языках, но строящими одно дело — социализм — колхозами. И это уже не борьба, а взаимная помощь. «Социалистическое соревнование говорит: помогай отставшим догонять лучших и добейся общего под'е-

---

## КОЛХОЗНЫЕ БУДНИ

---

### ДЕНЬ В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ БУДЕННОГО

---

Два часа ночи. Ущербленный месяц медленно переплывает небо над озябшей степью. Остывающим расплавленным свинцом отблескивает месяцу из тальника широкая лука Белого Июса.

К берегу цепочкой тянутся дородные, хозяйственные хаты. Тишина. Старая станица спит. Ни души на улице. И только два окна бросают на дорогу желтые расплывчатые пятна...

Это в колхозной конторе разгорается старинная пузатая «молния».

В большой уютной комнате Давыд Осипович Шпикельман перебрасывает небольшую стопку бумаг. Тут и рапорты колхозных ферм, и донесения полеводческих бригад, и вчерашняя почта.

Донесения бригад заставляют его задуматься:

На вспашку зяби сегодня 1-я бригада пустила 9 плугов, 2-я бригада пустила 5 плугов. Но пахнет не завидно. Мерзло. Но все же пахать можно. Выделили группу на молотьбу из обеих бригад.

4 граблей сгребают колосья пшеницы.

В отношении нарочного в Кугунек насчет мельницы мы вам писали, но ответа нет. Разрешают молоть хоть сегодня со своим горючим. А с 20-го можно молоть с ихним горючим.

Сейчас не знаем, куда направлять на мельницу. Васильева еще нет.

Засыпано семян 478 центн. На Копьевой пшеницу сдали.

Бригадир № 1 Кожуховский.

Бригадир № 2 Доценко.

С мельницами беда. До ближайшей мельницы от Соленого озера около 60 километров.

С трудом вчитываясь в черные грядки строк, Давыд Осипович размашистым, неумелым почерком заносит в свой блок-нот одному ему понятные отметки:

- список бескоровных хозяйств.
- в бригадах больше плана спашат.
- все ли бабы работают.
- овса.

Проходит полчаса, час... И тогда темноту единственной улицы Соленого озера взрывают еще три-четыре огонька...

Перед рассветом в конторе колхоза уже открывается очередное ежеутреннее заседание правления.

Повестки дня, в строгом смысле этого слова, нет. Ее диктует или нарочный из полевой бригады, или последний номер газеты.

— Панкратий Михайлович, когда будет готова загородка? — начинает опрос председатель колхоза.

— Дня через три.

— Говори точно. Через три дня?

— Через три.

— Ну, смотри! Через три дня спросим.

Давыд Осипович делает поборота к хозяйственнику:

— Сено у жеребцов есть?

— Есть!

— Когда привезли?

— Вчера вечером...

— Зачем ты врешь? Я же сам ночью обошел все конюшни. Не было сена.

— Утром привезли...

— Утром? Если еще раз...

Через минуту Давыд Осипович уже совещается с овцеводом:

— Как ты думаешь, спрашивается вопрос? — сможем мы нынче окот провести в марте?

Овцевод — старый служака казачьих сотен — отвечает, вытянувшись в струнку:

— Сможем, товарищ председатель. А позвольте спросить, где для кошары досок взять?

— В школе на дворе возьмешь.

— Так нету там.

— Как нету? А на чердаке?

— Не видал.

— Какой же ты хозяин после этого! А почему я видел? Я тут без году неделя, а ты всю жизнь живешь...

Так в колхозе имени Буденного начинается рабочий день.

На заднем дворе правления колхоза дробный топот копыт и тревожное ржание. Туда загнали из степи косяк кобылиц с жеребятами и сейчас над их головами мечется волосяной аркан.

В стороне учится набрасывать петлю восьмилетний мальчуган — сын заведующего конефермой Копыла Рудакова. Отец сам посадил его на седло и сунул ему в руку аркан.

Копыл Рудаков и конюх Александр Шарыпов — две самых интересных фигуры колхоза им. Буденного. Оба они батрачили в Соленом озере — бывшем Форпосте — у богачеев-казаков. И оба вместе вошли в колхоз. Оба — знатоки лошадей. Рудакову стоит взглянуть на любой косяк своей фермы (а на ферме чуть не полторы тысячи коней) и он сразу скажет — какой лошади нет. Шарыпов изучил каждую привычку, даже каждый каприз племенных жеребцов, которые к нему прикреплены. «Скомороха», своего любимца, он чистит так нежно и любовно, что тот сам подставляет ему то плечо, то бок. Этого жеребца старый хозяин кулак Терских загнал до полусмерти. Говорят, Шарыпов два месяца даже спал в конюшне рядом с ним, но все-таки выходил его.

Рудаков и Шарыпов не столько соревнуются, сколько ревнуют лошадей один к другому. Впрочем, их обоих — хакасса и русского — связывает цеховая дружба. И они каждый день обмениваются замечаниями. Но сейчас Копылу нужно ехать в степь, к табунам на озеро Биле, а Шарыпов занят уговариванием кузнеца:

— Так ты про медный-то гвоздь не забудь!

— На кой тебе медный гвоздь?

— Примета такая у стариков, чтобы непременно на подкове один гвоздь медный был.

Немного позже, когда фотограф нашей бригады стал снимать лошадей, Шарыпов, показав ему трех жеребцов, вдруг исчез.

— В чем дело?

Недоумение рассеялось через пять минут. Шарыпов вышел из своей квартиры в новой вельветовой рубашке (премия ударника), перехваченной поясом с кистями и в фуражке. Это значило, что сейчас он подведет к фотографу «Скомороха».

Во дворе и в степи суетились люди. Достраивали кошары и конюшни. Перегоняли табуны и отары овец. Только в конторе было пусто. Кроме счетоводов, — никого. За 10 дней работы в Соленом озере я ни разу не видел в конторе колхоза посетителя от нечего делать (речь идет, понятно, о рабочем времени).

После обеда обошли строительство. Побывали в полевых бригадах. Устали, конечно...

Двенадцатый час ночи. Давно уже вышел на дежурство ночной сторож. Шарыпов в последний раз обошел свои конюшни. Правление колхоза заканчивало свое ежевечернее собеседование...

И вдруг во двор везжают одна за другой подводы. Это с мельницы привезли муку для выдачи авансов.

И тут же, на заседании правления, Давыд Осипович ставит вопрос: когда ее раздавать? Если завтра, то люди утром зря будут терять рабочее время. Значит...

Значит, сегодня.

Не проходит и минуты, как рассыльная бежит по дворам.

— Кто хочет получать муку, иди! Ударники в первую очередь!

Кладовщик гремит замком.

Загорелись по двору фонари. Заколыхались тени... Председатель колхоза сам устанавливает очередь.

Так в колхозе имени Буденного кончается рабочий день.

---

## К О Е - Ч Т О   О   М Е Т О Д А Х

---

О методах работы Шпикельмана говорит вся область. И не напрасно. О них можно много и долго спорить...

Шпикельману нужно было зерно. Действительно нужно. Колхозу нечего сеять. Даже нечего есть. Старое правление размотало все, что можно было размотать. И вот Шпикельман едет за 70 километров в совхоз. В совхозе есть овес. Но, кроме того, в совхозе есть товарищи с коммерческим уклоном.

И Шпикельман в две минуты становится тоже коммерсантом.

Договариваются. За столько-то килограммов овса — столько-то килограммов мяса. Подписывают договор. Сделка, явно невыгодная для колхоза. Но это только так кажется.

Шпикельман требует отдать ему овес сейчас же, так как он, дескать, приехал с подводами. На самом деле никаких подвод с ним нет. Мясо же обязуется выдать через 5-6 дней.

Через полчаса Давид Осипович — в ближайшем колхозе. Там он берет несколько подвод и ссыпает купленный овес в чужие амбары. А пока овес перевозили из чужих амбаров в Солёное озеро, Шпикельман готовился к торжественной встрече.

Однако, выглядела эта встреча совсем не торжественно.

Представитель совхоза (уверенно): ну, как насчет мяса?

Шпикельман (делая отчаянное лицо): зарезали вы меня со своим овсом.

Представитель совхоза: как, то-есть, зарезали?

Шпикельман: так и зарезали. В области грозятся под суд отдать.

— Под суд? Да зачем же ты разболтал?

— Я не болтал. Сами узнали.

— А как же договор?

— Да какой там договор! Всыпят нам обоим за такой договор.

— Как же быть?

— Уезжай пока. Через месяц видно будет.

Через месяц диалог повторяется с некоторыми вариациями.

Дело кончилось тем, что Шпикельман от имени колхоза написал совхозу благодарственное письмо и заплатил за овес по синдицированным ценам.

Коммерсанты из совхоза ругались. Зато колхозники довольны. А в районном центре разводили руками:

— Как тут квалифицировать? Во всяком случае, спекулянтов проучить не мешало.

Той же весной в колхозе имени Буденного не оказалось сена. Это было на третий день приезда Шпикельмана. А на пятый день он уже об'ехал не только сенокосные угодья своего колхоза, но и соседние. И сено обнаружилось.

К вечеру Давыд Осипович был в Кугунеке у председателя «Красной Агрономии».

— Послушай, я к тебе за сеном.

Сосед был поражен:

— Да ты что, товарищ Шпикельман! Какое у меня сено! Я сам хотел у тебя просить.

Давыд Осипович учел ситуацию:

— Да я шучу. А ты думал — всерьез? Если тебе действительно надо, могу дать.

Легковерный сосед наряжает подводы и Давыд Осипович половину найденного сена отдает его же настоящим хозяевам, а вторую половину везет себе.

В конце концов дело выяснилось, и председатель «Красной Агрономии» долго краснел.

Так Шпикельман учил соседей ремеслу хозяев.

Также несколько своеобразно толковал Давыд Осипович и понятия колхозной чести. Как-то попросил он в леспромхозе круга два веревки. Леспромхозовцы с'язвили:

— Хорош колхоз! Веревки даже нет.

Давыд Осипович обиделся:

— А вы уж и поверили?

И пошел в сельпо. Там он взял взаймы на несколько минут все веревки, разверстанные по колхозам, но еще не взятые, нагрузил их на дрожки и проехал мимо леспромхоза. Кнутовищем стукнул в окно и показал:

— Видал, сколько у нас веревки? Может, вам взаймы дать?

А потом об'ехал леспромхоз и переулками добрался до сельпо, чтобы сдать веревки.

Это одна сторона работы Шпикельмана. Нельзя сказать, чтобы очень правильная по части методов. А вот другая сторона.

Волки зарезали в степи жеребенка. Раньше об этом

*же сейчас?*  
никто и слова не сказал бы. А Давыд Осипович поднял шум.

Из старых тесин для жеребенка сколотили гроб. Поставили его на козлы. Первое слово Давыд Осипович предоставил Копылу Рудакову. Давыд Осипович знал, что делал. Никто в колхозе имени Буденного так не ценил коня, как этот старый батрак.

А в своей речи Давыд Осипович с цифрами в руках доказал — что стоит жеребенок всему колхозу и каждому колхознику.

Эти похороны произвели такое впечатление, что действовали, кажется, даже на волков. Во всяком случае, они с тех пор колхозных жеребят больше не режут.

Этой же злополучной весной над Ширинским районом пронесся буран. Давыд Осипович был на станции. И вот в два часа ночи он прискакал в колхоз. Подоспел как-раз во-время. Овцевод и коневод в конторе развели дискуссию о том — кто должен послать коней за сеном. А митинговать было некогда. И Давыд Осипович просто приказал через пятнадцать минут отправить за сеном пятнадцать лошадей.

Пока их запрягали, рассыльный колхоза и члены правления подняли на ноги всю станицу. В первую очередь — счетоводов. Им предложили сейчас же освободить контору от шкафов, столов и документов.

Через несколько минут все три комнаты конторы были заняты ягнятами. Тех, которым нехватило места, разобрали по домам колхозники. И все ягнята были спасены.

Наконец, еще одна иллюстрация. На стене конторы висят три списка. Один большой — фамилий на шестьдесят, второй — поменьше и третий совсем маленький. Впрочем, надо сказать, что недели три тому назад он был значительно длиннее. Над первым поставлен заготовок: «добросовестные», над вторым: «ударники», над третьим: «лодыри и рвачи».

Не мало шуму наделали в колхозе эти списки. Сначала лодыри посмеивались:

— Пиши, пиши! Бумага все терпит.

Но уже через два-три дня настроение стало меняться. Лодырям не стало житья. Сельпо отпускает им товары на очень ограниченную сумму. Продукты они по-

лучают в последнюю очередь. А самое главное — на них стали показывать пальцами:

— Лодырь!

Вот приходит парень в кладовую.

— Ты кто такой?

— Как кто? Слепцов?

— Знаю, что Слепцов. А по списку кто?

Слепцов переминается с ноги на ногу.

— Ну, кто же?

— Так-то, конечно... в лодырях состою... Но это ж дело в бригадире. Не понравился я ему.

— А бригаде тоже не понравился? И общему собранию не понравился? Всех любят, одного тебя не любят?

Слепцов ворчит. Однако, на работу на следующий день выходит раньше других.

## „ХАКАССТАР“, ЧТО ЗНАЧИТ „ХАКАССЫ“

До весны 1931 года здесь было три тооза: «Культбистюк» в Аешинском улусе, «Чоочин» — в Трошкинском и «Наа-хоных» — в Топановском. А той весной они слились в одну сельхозартель «Хакасстар». Организаторам сельхозартели не пришлось расканиваться в ликвидации тооза. «Хакасстар» оправдала себя.

Хотя не вдруг. История этой артели — история, повторявшаяся в Хакассии не раз. Не успел колхоз как следует развернуться, а в нем уже цвели ядовитые кулацкие цветочки. Душой и головой вредительства были братья Коковы Степан и Оссь, люди с крупным хозяйством и... партбилетом в кармане. Они первые начали резать свой скот. Резали и приговаривали:

— У государства скота найдется! Хватит скота у государства! В одних совхозах тысячи голов...

Они распродавали потихоньку колхозный хлеб, меняли его на что придется.

И все это прикрывалось партбилетом. На собраниях братья Коковы били себя в грудь:

— Мы, старые партийцы...

Они развалили бы колхоз совсем, если бы летом 1932 года в Аешинском улусе не появился Халтар Коп-

Копчегашев — тот самый, который когда-то организовал комсомольцев в Кобяковском улусе. Начал он свою работу в колхозе с объединения партийных сил, с проверки руководства. Коковым пришлось расстаться с партбилетами.

И вот через год «Хакасстара» не узнать.

За несколько минут до шести часов — до начала открытия партийного собрания — Копчегашев вышел из своей квартиры в правление колхоза. Его коричневый, знакомый всему улусу френч и серая буденновка — это сигнал. И собрание открывается почти вовремя.

Тесная комнатка правления, к сожалению, в стороны раздаться не может. Хорошая половина собравшихся устраивается на корточках по углам. Начинает Копчегашев с разоблачения своего секрета руководства. Он напоминает, что ни одно серьезное колхозное дело не решалось без ячейки, без актива. И тут же начинает читать. Это, собственно, не чтение, а пересказ документа своими словами — доходчивыми и живыми. Пересказывает он постановление бюро крайкома партии.

— Что такое колхоз, аргыстар? Колхоз — это семья, большая и дельная, в которой все работают, как часы. Ну-ка, скажи, Федот, кто у тебя дома ставит самовар и кого ты посылаешь за дровами? Самовар, наверное, ставит жена, а за дровами ездит сын? Хорош бы ты был хозяин, если б воду у тебя возила жена, а кашу варили сыновья! Всякому свое дело. Крайком нашей партии, аргыстар, говорит, что наши хакасские колхозы работали неважно. Не было в нашей семье настоящего порядка. Придется его заводить. Крайком говорит: займитесь, как следует скотом. Как у нас в «Хакасстаре» насчет скота?

И речь председателя перебивается коротеньким докладом животновода Балакчина.

Федот Балакчин — один из именитых людей сельхозартели «Хакасстар». Это человек, который не знает, сколько ему лет, но знает, что двадцать лет из них он батрачил. Он выкладывает собранию по памяти десятки цифр. Он считает, как арифмометр. И кроме того его голова — это племенная книга колхоза. Он знает всех сим-

менталов и всех сычевцев. Он помнит, когда и от кого они родились. Он помнит — где каждый из них пасся сегодня и куда его погонят пастись завтра.

Положение со скотом в «Хакасстаре» явно не плохое. Это, пожалуй, лучший в районе колхоз и по сохранению молодняка, и по уходу за скотом, и по его продуктивности.

Но это не мешает ячейке тут же на собрании перераспределить свои силы и всех без исключения партийцев перевести на зиму в животноводческие бригады.

Переводят не просто так, по списку. И переводят не одни партийцы. Вопрос разрешается всем собранием.

— Куда поставить Попиякова Василия?

— На молочную ферму. Парень хозяйственный! — доносится голос с места.

— На овцеводческую! — поправляют из другого угла.

И актив перебирает по косточкам всю биографию Попиякова. Наконец, решают, что овец он знает лучше. И Попияков назначается заведующим ОТФ.

— Куда прикрепить Лидию Аешину? Куда прикрепить Василия Барбакова?

Перечислять приходится довольно долго. Ячейка «Хакасстара» одна из самых крупных колхозных ячеек в области.

Но к концу собрания все оказываются на местах. Все получили наказы.

Становится понятным — почему в «Хакасстаре» приятно на глазах перевоспитываются люди. За партийцами гнутся и беспартийные.

Этю Трошкина никогда в своей жизни не ухаживала за своим собственным скотом так, как она ухаживает сейчас за колхозным. Раньше ей в голову не приходило, что перед дойкой нужно мыть руки. А сейчас у нее белоснежный халат, и она не растает с полотенцем. Ее коровы, вместо 30 литров молока, дают 50.

Нет такого колхозника в «Хакасстаре», который не втянулся бы в социалистическое соревнование.

Не напрасно Халтар Колчегашев все лето на рассвете выезжал на аешинские, трошкинские и топановские косогоры. Полчаса-час обезджал он на своем коне колхозные поля. Вымеривал, высчитывал и к утру уже

знал — кто отстаёт, кто обгоняет и куда нужно подбросить силы.

Заканчивается собрание сообщением Копчегашева о соревновании с колхозом имени Буденного. Сообщение вызывает отклик. Колхозники заговорили все сразу. Кто-то изливает свои взбудораженные чувства соседям, даже не замечая, что его не слушают. Кто-то кричит всем вообще — всему улусу, вообще всем улусам и деревням по Белому Ююсу.

— Мы покажем, что значит «Хакасстар»!

Копчегашев чуточку охлаждает взбаламученных колхозников:

— Колхоз имени Буденного — это вам не шутка. Мы, конечно, должны будем их одолеть. Но это, прямо говоря, дело нелегкое. Придется нажимать.

— Это мы знаем.

И еще вопрос:

— Готовы ли охотники?

И Аешинский, и Топановский, и Трошкинский улусы истари славились как улусы охотничьи. Каждый год поздней осенью из всех трех улусов тянулись в тайгу десятки мастеров безошибочного выстрела. Сейчас они выходят организованным порядком, охотничьими бригадами, обычно по шесть человек каждая.

— Готовятся, как видно.

После собрания мы еще долго бродили по закоулкам старого улуса. Уж очень хороша была над светлой лентой Белого Ююса лунная ночь.

А улус был, как улус. И юрты, как юрты. У первой же из них между столбами на палке еще болталась скэрки — заячья голова, тос — покровитель скота. Над юртами чуть тянулись дымки очагов.

И все-таки это не прежний улус.

## СТАРИК ДАЕТ ОЦЕНКУ

В конце концов эти долины начинают казаться слишком похожими одна на другую. До того их много. Только выкарабкается лошадь на увал, и опять уже надо спускаться. И там опять ждут такие же, словно позолоченные осенью кустарники, такая же речушка. Изредка в стороне промаячит улус. Один раз под-

вернулось даже кладбище. Редкий случай. В Хакасии можно проехать сотню километров, перебрасываясь из улуса в улус, и ни разу не заметить кладбища. Хакасы не любят лишних напоминаний о смерти. Раньше, когда в юрте кто-нибудь умирал, юрту переносили на новое место. Если в улусе подряд было несколько смертей, — откочевывал весь улус. Поэтому и кладбища прятались куда-нибудь подальше.

Когда под'езжаешь ближе к Шира, вдоль дороги выстраивается вереница сельхозпредприятий золотых приисков. В этом году в два-три месяца здесь выросло несколько небольших поселков, и сейчас в них уже звенят топоры.

Старику-колхознику, нашему вознице, дорога давно уже надоела и он, повернувшись на козлах, заговаривает:

— Восемь лет я батрачил... а потом и хозяином был. Не плохо жил. Пять коней имел, три коровы было... А все-таки вот так, как сейчас, еще не жил. Два сына работают, сам работаю. Это только лодыри жизнь портят и себе, и людям. А работающему человеку в колхозе жить можно.

Заканчивает он почти торжественно:

— Раньше у меня жена... кожа да кости была, а теперь, посмотри-ка, упитанности выше средней стала.

Мы невольно улыбнулись. Так животноводческие термины несколько курьезно входят в быт хакасского улуса.

Подергав вожжи, старик начинает рассказывать снова. На этот раз о Копчегашеве:

— Правильный человек. Помню, я его хозяйничать учил. Придет и смогрит. И все понимает. Теперь, гляди-ка, сам учить начал.

Случилось как-то летом, что колхозники целый день бились у молотилки, а норму так и не выполнили. И не то, чтобы отлынивали от работы. Нет, работали, как обычно. И никто не мог догадаться, в чем дело. Тогда Копчегашев под'ехал к молотилке и с неизменного своего высокого седла полчаса или час упорно смотрел на работников. Потом соскочил с коня, засучил рукава, переставил всех с места на место и сам встал к барабану. Через пять минут молотилка стала выбрасы-

вать в три раза больше того, что выбрасывала до этого.

Старик не то нам, не то себе бросает поговорку:

— Чтобы ехать рысью по степи, нужен конь с крепкими копытами, чтобы служить народу, нужен человек с полным мозгом.

---

## БЫВШЕЕ ПРОКЛЯТОЕ ДЕРЕВО

---

Через несколько дней я был снова на юге Хакассии. Разбитый автокар дребезжал от каждого толчка. Когда он напряженно взбирался в гору, пассажиры не на шутку боялись, что вот-вот машина сорвется и полетит назад.

Но автокар пыхтел, захлебывался, плевался синим дымком и все-таки лез.

Дорогу я помнил хорошо. Но сколько бы раз я по ней ни проезжал, каждый раз я находил что-нибудь новое. Так и сейчас... За Аскызом был улус, который километров за десять начинал маячить своей церковью. Она, собственно, осталась и сейчас, но так осела к земле, что различить ее было трудно. Она шатнулась в сторону и, казалось, только ждет своего последнего часа. Когда мы подехали ближе, с автокара можно было рассмотреть разбитые стекла, старые ржавые листы железа, сорванные с крыши, сгорбленные доски.

За Усть-Есю, рядом со старой дорогой, тянулось не совсем еще готовое новое шоссе.

В Усть-Еси мы отдохнули, дождались вечера. А потом, снова взгромоздившись на машину, размечтались о Таштыпе. Он был уже недалеко, да и настроение создавалось самое поэтическое. Громадная луна незаметно выкарабкалась из тайги и молча распласталась над землей. В темноте кувыркались вспугнутые птицы...

И вдруг машина остановилась.

Шофер выбрался из кабинки и полез под колеса. В мертвенном свете луны тишина с каждой минутой нарастала и ширилась, застывая над таежными далями. На голые ребра Саян ложилась резкие черные тени. Горы теснились со всех сторон. Они казались вдвое выше и строже. Будто мы очутились на дне давно остывшего кратера, и будто вместе с нами застывал весь зем-

ной шар. Еще несколько минут — и с далеких хребтов сплошным потоком двинутся тяжелые ледники...

Но шофер вылез из-под машины и разразился такой неистовой руганью по адресу Резинотреста и Золотопродснаба, что сразу пропали и ледники, и кратер. Оставался один печальный факт:

— Машина дальше не пойдет!

Шофер объявил, что его помощник отправится в Таштып в контору Золотопродснаба за всяким подсобным материалом, а мы вольны распорядиться собой, как нам заблагорассудится.

Нам заблагорассудилось свернуть в сторону и отправиться на поиски подходящего стога.

Но заснуть все-таки не удалось. Начались, как водится, разговоры.

Кто-то вслух жалел о Таштыпе:

— Хорошо там сейчас! Тепло.

— Интересное это село, Таштып! — отозвался кооператор из Хаксоюза. Не село, а символ. Посмотрите-ка вы на его улицы. Старые казацкие дома, тяжелые и прубые, с плотными ставнями, с высокими крыльцами, с крепкими залорами. И все-то они позеленели, покрылись мхом. Еще годков пять-шесть и они сгниют на корню. А рядом новые дома, светлые и чистенькие.

— Зато кооперация там никуда не годится! — вцепился инструктор обкома. Он с Таштыпом был связан тесно и знал, что говорил:

— Вы, если пробудете там день-два, обратите внимание: первым в Таштыпе открывается магазин золотоскупки, вторым — Акорт, третьим — сельпо. А закрываются как-раз наоборот: первым — сельпо, вторым — Акорт, третьим — золотоскупка.

— А ведь холодно, ребята, становится!

— Хоть бы полено какое-нибудь отыскать!

— Откуда его возьмешь? Кругом лес, а нас угораздило остановиться, где даже проклятой березы не встретишь.

Помолчали.

И вдруг хакасс-счетовод подхватил брошенную реплику:

— Раньше хакасс действительно считали березу проклятым деревом.

— Почему?

— В старину, говорят, пророчество такое было, что в тот год, когда в абаканских степях появится береза, на Абакан придут русские.

— Ну, и что же? Пророчество-то сбылось...

— Сбылось, это верно. И верно, пожалуй, что березу звали проклятым деревом. Дали нашим отцам жару русские... русский урядник, русский купец, русский поп...

— А теперь?

— Ну, теперь какой разговор! Теперь береза только для бая проклятое дерево! А для нас... Не приди русский рабочий, — не видать бы нам жизни! Не было бы русского купца, урядника, попа, — были бы свои баи, князья, шаманы... один чорт!

Счетовод замолчал.

Только к полудню машина тронулась дальше.

## Л Ю Д И „У Д А Р Н И К А - Х А К А С С А“

Дорога круто взлетела по косогору вверх и резко повернула вправо. И тогда сразу перед глазами открылась на несколько километров долина реки Сиры и в ней один за другим два улуса — Верхне-Сирский и Средне-Сирский.

Впрочем, это только раньше было два улуса. Сейчас это один колхоз «Ударник — хакасс». Лучший в Таштыпском районе.

Но что изменилось в этих улусах внешне? Такими же они были и тридцать, и пятьдесят лет тому назад, когда победно гарцевали на их единственной разбросанной улице таштыпские казаки. Те же невеселые маленькие зимники, те же юрты, в которых сонно и безрадостно тянулись дни. Календаря в улусах не знали и время считали по крупным дракам, по болезням, по падежу скота. Какие еще бывали в улусе события? Разве вот когда Туйман Мамышев лет двадцать тому назад привез из Минусинска плуг? Да и то... сбежались, посмотрели, покачали головами и разошлись. Не понравилась странная машина. Так до самых последних лет этот плуг и оставался единственным в улусе.

А теперь?

Поглядеть со стороны,—как будто бы все прежнее. Все так же широко оба улуса разбросаны по берегам вертлявой Сиры; те же косогоры кругом; так же застыл на них сонными зелеными отарами старый березняк. И юрты те же. И даже ласточкины гнезда на их крышах, кажется, не изменились.

Хозяин улыбается. Разве можно распрощаться с ласточкой? Дружба с этой птицей началась давно, с того самого дня, когда Айна — подземный дух — решил узнать — чья кровь на земле будет слаще. Своим вестником он послал на землю комара. Комар тогда был еще большой, с лошадиную голову. И вот комар с радостью полетел. А немного погода понеслась за ним и ласточка. Ей хотелось узнать — какую весть принесет Айне комар. И только что поднялась она из-под земли наверх, как видит — летит ей навстречу комар. Ласточка и спрашивает его: чья кровь слаще? Комар говорит: человечесья. Тогда ласточка перевернулась вокруг комара и говорит ему: а ну-ка, покажи мне, что это за кровь! А комар нес капельку крови у себя на языке. И вот комар высунул язык. Ласточка вырвала его вместе с кровью и полетела. Бросился комар за ней, поймал было за хвост, выхватил половину, а удержать не сумел. Ласточка улетела к человеку, комар вернулся к Айне. Спрашивает его Айна: ну, чья же кровь самая сладкая? А комар и сказать ничего не может. Языка нет. Рассердился Айна, схватил палку и стукнул комара. Рассыпался комар на тысячу частей и с тех пор комары стали маленькими. А ласточка долетела до первого улуса и стала жить с тех пор с человеком.

Да, все то же в юрте, кроме разве одной мелочи, которую не сразу и заметишь. Раньше, когда хакасс переходил из зимника в юрту, он перетаскивал с собою почти все, что было в зимнике. Теперь в юрту переносилось только самое необходимое. Юрта становилась чем-то в роде нашего сеновала или холодных сеней.

Впрочем, был в «Ударнике-хакассе» один дом, во дворе которого уже не найти юрты. Его хозяин—Пара Канзычаков — рядовой колхозник. Жена и дочь его острижены и одеваются по-европейски. На них новенькие, простенькие, но удобные пальто, достаточно мод-



С. НЕСТА. Т. ОР. СМД

СОВПАРТШКОЛКА

Рисунок хакасского художника-  
самоучки Г. Аткина

ные ботинки и шелковые чулки. Сам Пара, правда, ходит еще в старой широкой рубаше.

Когда мы попали к нему в дом, он только-что вернулся из Таштыпа, куда отвозил колхозный хлеб. Умылся, поужинал и полчаса-час полежал на постели. А потом накинул на плечи полушубок и вышел в темную ночь на участок бригады скирдовать.

Мы отправились на заседание правления. Оно обещало затянуться. Еще бы! Наша бригада ставила вопрос о занесении «Ударника-хакасса» в краевую красную доску передовых колхозов и предстояло разобратить все показатели, найти лучших ударников.

Пока счетовод выбирал из книг одну за другой справки, а агроном их проверял, бригадиры и актив задумались.

— В чем дело? Неужели в передовом колхозе нет ни одного хорошего ударника?

Оказалось не то. Председатель колхоза наметил почему-то ориентировочную цифру в пять-шесть человек, и вот бригадиры, а за ними и все собрание, оказались в недоумении: кого же выбирать?

Ну, скажем, чем не ударник Като Канзачаков? Ему 62 года, а никто в «Ударнике-хакассе» так тепло, так заботливо не ухаживает за конями, как он. Весной его послали на ручной сев по крутым косогорам, где с сеялкой нельзя пройти. Он засеял больше, чем ему полагалось, и пшеница на его участке поднялась ровная и чистая. Был он и сторожем. Был на строительстве. Был на сплаве. И везде был ударником.

Чем не ударник другой старик — Сидонча Канзачаков — колхозный мастер, специалист по саням и колесам? Ему лет 70 и он давно прихрамывает. Он, пожалуй, мог бы пойти на покой. Но он не уходит. Он сам ездит в тайгу за материалом. Отыщет знакомое место и бродит, прихрамывая, ощупывая глазом каждое дерево, чтобы крепче были колхозные сани, чтобы дольше крутились по колхозным полям колхозные колеса.

Чем не ударник комсомолец Гриша Миягашев, который пришел в колхоз без хлеба, без одежды, без обуви? И ни разу Гриша не пал духом. Наоборот, ободрял других. За ним потянулась вся колхозная молодежь.

Чем плоха Канзачакова Толинэк? Она лучший ин-

спектор по качеству. Вместе с Канзачаковой Натальей и Салагашевой Марией она каждый день после работы, а то и дважды в день, обходила поля и крепко нездоровилось тем, кто работал спустя рукава. Айкичан Анзаракова попробовала оставить несколько колосьев. Инспекция сообщила об этом в бригаду и Айкичан пришлось встать до солнышка и обойти с граблями весь участок снова.

Тем временем агроном закончил проверку и объявил, что трудодень в этом году в «Ударнике-хакассе» будет стоить, примерно, 13 килограммов зерна и 50 с чем-то копеек деньгами.

Роман Тодояков — председатель правления — с гордостью подчеркнул:

— Сразу всем колхозом пойдем в зажиточные. Вон Абрам Гуртугешев. Он был вечным батраком, а сейчас выбился. Своего угла никогда не видел, а теперь у него домик есть. Да заработано, пожалуй, хлеба пудов двести.

Но самое наглядное доказательство успехов «Ударника-хакасса» сидело здесь же, в комнате правления, в сторонке на скамье. Это — кустарь-пимокат из Таштыпа. Он подал заявление о вступлении в колхоз и вот терпеливо сидит и ждет, когда до него дойдет очередь.

Когда же после долгого экзамена его приняли в колхоз, он так суетливо затолкался вокруг железной печурки, что сразу стал всем мешать. Перетащил зачем-то из угла в угол дрова. Уж очень ему хотелось чем-нибудь доказать свою работоспособность. Совершенно кстати Тодояков попросил кого-нибудь дойти до полевой бригады и сказать там, чтобы завтра к обеду приготовились к производственному совещанию. Пимокат подбежал к столу и попросил послать его.

— Да куда ты ночью пойдешь?

— Найду как-нибудь, товарищ председатель. Ты уж не беспокойся, пожалуйста! И опять же, если сегодня не найду, завтра все равно искать надо. Как теперь я колхозник...

Не дожидаясь ответа, пимокат выскочил на улицу.

Полевой стан затерялся в косогорах, разбежавшихся во все стороны от реки. Где-то в кустах тарахтела

молотилка. Время подходило к обеду и в таборе по-лыхали костры. Над ними покачивались громадные чугуны, в которых по-старинке варился толкан.

К обеду собрались обе бригады, — стан был расположен на стыке их участков. Пришел и Миягашев Григорий, и Канзачакова Толинэк, и Мусихин Миней, и Туртугешев. Словом, почти все те, кого намечали на собрании актива.

Мы хотели побеседовать с ними, расспросить — как стали они ударниками. Но у нас ничего не вышло. Что они могли о себе сказать? Попробовал было за всех отвечать Гриша Миягашев, да так и не договорил:

— Это же, это же... ударничество, одним словом. Чего тут такого?..

Короче говоря, ударничество — это высшее выражение коллективного труда, этот пафос социалистического строительства — уже прочно входит в быт молодого хакасского колхоза.

---

## ПЕТР МАКСИМОВИЧ В КОЛХОЗЕ

---

В рекомендации таштыпского райкома партии значилось:

Сельхозартель им. Молотова, Таштыпского сельсовета, образцово провела и первой в районе закончила весенний сев, летние сельхозработы, коволицу, вязку снопов, скирдование и годовой план поставки зерна государству.

На один трудодень колхознику приходится 9,5 килограмма хлеба и 1 рубль деньгами.

Лучший бригадир колхоза кандидаг партии Рыжиков Родион Ильич.

Лучший колхозник-ударник конюх Кнутиков Петр Максимович.

Как же было не заехать и не повидать старого знакомого!

Но и на этот раз найти его было не так-то просто. Правда, его уже знали по настоящей фамилии, а не по фамилии хозяина-кулака... Зато на старом месте не оказалось и следов его маленькой избенки. Он жил теперь в новом домике на горе, за рекой. Но и здесь Петра Максимовича я не застал. Его вообще этим ле-

том встретить дома было невозможно. Он вместе со своими конями жил около бригад. Пришлось отправиться туда.

Мы долго сидели с ним на бревне у полевого стана. Разговор почти все время вертелся вокруг лошадей. Он попрежнему любил коня... не своего коня, а коня вообще, колхозного коня. То и дело к полемому стану подходили лошади и тогда Кнутиков вставал с бревна и шел их смотреть.

Впрочем, в Усть-Курлугаше интересовался конями не он один. Не даром колхоз им. Молотова славился своим рабочим скотом на всю округу.

Когда мимо нас проскакал на взмыленной лошади колхозник из соседней деревни, то возмутился не только Кнутиков, но и повариха. Она погрозила с крыльца вдогонку ретивому колхознику кулаком:

— Отсохли бы у тебя руки, у дьявола! Взмылил лошадь!

Мы с Кнутиковым вспомнили Псарева, Петр Максимович рассказал, что матерый кулак под шумом коллективизации протискался в партию, а сын его — в комсомол. Оба пробрались потом к руководству в правление колхоза, пока, наконец, их обоих не разоблачили. И разоблачили, кажется, с помощью Петра Максимовича.

— А где ваш друг Токчанаков?

Оказалось, один из братьев работает на лесозаводе, другой — председателем промыслового колхоза в Матуре, в том самом буйном селе, в котором мы когда-то останавливались по дороге на Горячий ключ. Улус без определенных занятий давно уже разбился на три промысловых артели и навсегда расстался со своими исконными занятиями — шинкарством и бродяжничеством.

— А помните, Петр Максимович, как вы боялись настоящего колхоза?

— Кто ж его знал, куда она повернется, жизнь! И кто ж его думал, что так вот все пойдет, как сейчас...

Около крыльца опять остановилась лошадь. Кнутиков поднялся с бревна.

В вечерней тишине было долго слышно, как фыркала лошадь и как ласково уговаривал ее лучший ударник колхоза им. Молотова.

---

## СТЕПНАЯ МОСКВА

---

---

### УСАДЬБА С ГРОМКИМ ИМЕНЕМ

---

Шофер выглядывал дорогу получше и машина ковыляла абаканскими улицами гораздо дольше, чем ей полагалось бы. Но за городом выглядывать было все равно бесполезно, и пока мы не выбрались из болотистой низины, прикрытой кочками обмороженного ириса, словно старой дырявой дерюгой, нас швыряло в кузове по самым невероятным направлениям.

Разговаривать было немислимо, да и спутник мне попался на этот раз исключительный: за всю дорогу мы с ним перебросились, включая сюда и предлоги, ровно пятью словами. Из них четыре пришлось на мою долю:

— Вы тоже в Москву?

— Да.

Чтобы в дальнейшем не было каких-нибудь недоразумений, нужно сразу же предупредить читателя, что в данном случае Москва — это всего-на-всего центральная усадьба хакасского совхоза «Овцевод». И только.

Этой дорогой я ехал впервые. Справа за Енисеем тяжелой каменной изгородью вытянулись горы — величественные инвалиды геологических революций. Слева и впереди — ровная желтая скатерть степи. Кочкарник давно уже кончился, и фورد бежал ровно и неудержимо, изредка огибая крутые шапки могильных курганов.

Но, когда проплыли назад рослые копры Черногор-

ских копей, машина вошла в увалы. Каждые пять минут, слегка задыхаясь, вползала она в гору и сразу же бросалась вниз. Тогда на минуту раскрывалась перед глазами котловина, как дно громадного казана, подернутое пепельной накипью — редким снежком, густо замешанным пылью. И снова в гору, и снова вниз.

И только минут через сорок пути на дне одной из котловин, будто кристаллы осевшей соли, забелело несколько мазанок. Это и была Москва.

Москва! Для того, чтобы так назвать это захолустье, нужно быть неистовым фангазером или непризнанным юмористом. Тем более два года тому назад, когда совхоз только еще начинал свою большую жизнь и когда под Москвой подразумевалось шесть или семь избышек и землянок, бестолково приткнувшихся к берегу безымянного ручья (безусловно, Москва-реки). Зимой в этих избышках совхозники занимались в шубах, а спали, прожигая одеяла углями, летевшими из раскаленных железнушек.

Но в наше время два года — эпоха. За два года Москва выросла по крайней мере в десять раз. Рядом с брошенными землянками вытянулись многоквартирки; в мастерских пытит локомотив; по всему поселку носится усердная трехтонка и столбы радиосвязи высятся над крышами, как агитаторы над трибуной, гордые своей позицией пионеров социалистической культуры в нелюдимах предгорьях Коксинского хребта.

Форд деликатно пропустил через дорогу сотни три овец и подошел к избышке, никогда не знавшей крыши и давно заросшей сверху реденькой полынью.

— Эге! Александр Наумович дома! — радостно изумился шофер.

Из окна избышки, в самом деле, шурился на машину хозяин квартиры. Таким же улыбающимся я видел его в Абакане, таким же он сидел за столом президиума областной партконференции. Говорят, что он также полно и жизнерадостно улыбался и комсомольцем-бойцом чапаевской дивизии под Уральском и механиком подводной лодки на Черном море, и в Харькове, и в Ленинграде — везде, куда его бросала партия.

Пристанище Александра Наумовича Ганкина напоминало скорее походную палатку, раскинутую на время

в степи, чем квартиру начальника политотдела крупного животноводческого совхоза... Груда газет рядом с тарелкой и чайником, записная книжка и «Спутник пропагандиста» на мягком диске раскрытого патефона. На некрашенном полу отпечатки доброго десятка ног. Совсем не нужно быть следопытом, чтобы отличить мазки глины, оставленной плотником московского строительства, от пятен серой пыли, растертой мягким маймахом заезжего чабана или заведывающего дальней фермой... Сюда идут и с просьбой отвести квартиру или, в крайнем случае, переложить плиту, и проработать программу вечерней совпартшколы, и просто послушать патефон, а может быть поучиться искусству управления этим несложным музыкальным инструментом, ибо в политотделе уже получены накладные на патефоны, выписанные для совхозных ферм. В культурной революции, ломающей вековой уклад степи, имеют свое определенное место и музыка Шуберта, и совпартшкола, и плита.

Здесь это поняли.

Когда, полчаса спустя, мы с тов. Ганкиным шагали по главной и пока единственной улице Москвы, он с мастерством заправского инструктора ОПТЭ повествовал, переходя от дома к дому:

— Вот здесь прошлым летом была землянка, а сейчас, как видите, домик, хотя и саманный. Это наш медпункт. Врача, правда, все еще нет, но есть фельдшер и несколько постоянных коек. Столбы поставили тоже нынешним летом. Сами. Нашелся любитель, пятнадцатилетний паренек. Неплохой изобретатель, между прочим. Мы его хотим во ВТУЗ подготовить. Он и провода нам натянул, и аппаратуру свою смонтировал; сейчас какие-то громкоговорители своей системы ставит. Это вот гараж и ремонтно-тракторная мастерская. А вот кустики, на днях посаженные. Говорят, в этой яме сроду ни одного дерева не росло. А теперь вырастут. Весной все фермы обсадим. Как будто и не к лицу политотделу садиками заниматься... но, по-моему, это не мелочь. Чабаны, кроме степи, ничего не видят. Пусть хоть на ферме, дома у них глаза отдохнут. А здесь столовая. Новый дом — совхозуч, при чем половина здания — клуб и библиотека. Тут же будет вечерняя совпартшкола. Направо новый дом — школа

первой ступени. За ним достраивается дом специалистов.

Из-за угла, пересекая тропинку, потянулись лошади. Одна из них хромала и вся передергивалась мелкой болезненной дрожью. На ее задней ляшке еще не остыла большая рваная рана.

— Опять волки, чорт бы их бабушке! Когда это?

— Сегодня ночью, Александр Наумыч! И шут его знает, до чего нахальный зверь. Прямо, можно сказать, на глазах бросился. Вон на этом увальчике... отсюда видно. Напугал, до сих пор дрожит.

Начальник политотдела достает записную книжку:

— Не забыть с директором поговорить. Охотничью бригаду думаю организовать. Ребята подходящие найдутся. Есть такие любители...

В клубе тов. Ганкин посмотрел, как идет ремонт. В школе посидел на уроке. На постройке овощехранилища поговорил с плотниками.

— Плохо что-то у вас, ребята!

— А мы вчера не выходили, тов. Ганкин.

— Почему так?

— Да, вишь ты, с хлебом у нас заваруха. По приказу мы на второй ферме прикрепленные, а сюда вроде как бы на временно... Вот завхоз и не берет нас на пайку. Где, говорит, прикрепленные, там, говорит, вам и отпускается. Что же нам теперь? На ферму за хлебом ходить?

— Что за ерунда!

— Вот и мы в это же слово. Ерунда, мол. А он — одно свое. Ну, мы и думаем, — не выйдем на работу, запоешь! Небось, к вечеру взаправду выдал.

— А работу-то зачем бросали?

— Так обидно ж, тов. Ганкин...

— Почему мне не сказали? Почему директору не пожаловались? Ну-ка, сядем. Курнем.

Начальник полиготдела и плотник овощехранилища уселись на груды досок. Дымок их папирос беспомощно трепался по ветру.

— О хлебе разговор короток. Завхоз, конечно, неправ. И вам надо было тащить его к директору или ко мне. И товарищ Лиханов, и я дело уладили бы. А вы, вместо этого, выходит, забастовку устроили. Кому же ты насолить хотел? Завхозу что ли?

Плотник рассматривал папироску так, как будто бы он видел ее в первый раз.

— Завхозу? Да?

Плотник с огорчением вздохнул, втянул в себя полпапиросы и деланно закашлялся.

— Не завхозу, дорогой товарищ, а совхозу. Рабочему классу свинью подложил. Ты думаешь, овощехранилище — это пустяк? Неверно это. Никакое наше советское дело не пустяк. Ты бревно тешешь, а это бревно всей республике нужно.

— Да уж это уж, что уж...

— Понял, значит, в чем заковыка?

— Да понять, как не понять! Я сам год без малого в партизанах ходил. А тут, вишь ты, не подумал... Чего, дескать, об одном дне разговору...

— Наладилось, значит?

Александр Наумович уже улыбался. Плотник тоже.

— Наладилось. Могарыч с меня. На ферме будешь, — заходи чайку попить.

---

## ИСПОРЧЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА

---

На партийно-комсомольское собрание был приглашен и беспартийный актив — ударники. Многие приехали с ферм и хуторов за тридцать, за сорок километров.

Ремонт клуба еще не кончился, и сидели в нем, не раздеваясь. Пузатые «молнии», подтянутые к потолку, рассыпали тусклые пятна по длинным дубленным шубам хакассов-чабанов, по ватным пальто работников политотдела, по кожанкам шоферов.

Слушали сначала заместителя директора тов. Лиханова, потом — начальника политотдела.

Очень хорошо, что фермы подготовились к зимовке. И глаз хозяйственника, и глаз полнотрабонника одинаково радуют чистые кошары. Очень хорошо, что справились с уборкой. Справились так, что совхоз дает государству хлеба, хотя его никто ни в какие планы не включал.

Но...

Какой докладчик обойдется без «но»! Какими бы гигантскими шагами мы ни двигались вперед, наши требования пока еще обгоняют нас.

— Но куда это, товарищи, годится, если у нас сорок процентов лошадей ниже средней упитанности!

— Но почему сегодня ночью волки одну овечку за-резали, одну поранили, а пятерых разогнали, и чабан не знает — куда? Вот вам и внимание к овечкам.

— Но как это так вышло, что у нас овощей нехватает?

Тов. Ганкин напоминает о засоренности партийных рядов совхоза. Весной здесь было около семидесяти членов партии и кандидатов, а сейчас, осенью, осталось сорок. Зато организация стала сплоченней и крепче.

— А сколько кулаков мы вычистили из совхоза!

Дальше несколько беглых фраз о вечерней совпартшколе, о кружках политграмоты, о красных уголках, о новых домах для чабанов. И опять-таки «но»...

— Но до сих пор еще не все коммунисты и комсомольцы ударники. Безобразный факт!

— Но из сорока партийцев только два хакасса. Хакассов среди комсомольцев только три или четыре — на семьдесят человек. Здесь, в центре Хакассии, мы недооцениваем работу с нацменами.

А самое главное, о чем говорил и докладчик, и содокладчик, — это чабан. Вот центральная фигура совхоза! Фигура, от которой зависит благополучие сорока тысяч овец.

Проходили минуты. Стали проходить и часы, а прения все еще тянулись, как тянется ровная степная дорога.

— Метис — животное нежное, кондитерское животное, — жалуется своим мягким украинским говорком старший чабан Кучеренко. — И он к себе внимания требует, хлопцы.

Внимания требует метис, внимания требует грубошерстная овца, внимания требует трактор, внимания требует...

Кто и что не требует в совхозе внимания? И кто не жалуется на недостаток внимания? Предрабочкома Григорьев упрекает администрацию в потворстве лодырям, полевод Шаболь — в затыжке молотьбы, зав. фермой Аверьянов — в срыве хозрасчета.

Жалобы стали принимать угрожающий характер. Если все их принять всерьез, то надо только удивляться, как до сих пор еще жив этот совхоз.

Но слово взял помощник начальника политотдела тов. Константинов.

— У нас, товарищи, частенько так бывает, что или уж мы начинаем всех хвалить без удержу, или уж ругать без остановки. Давайте избегать крайностей! Все вы знаете, что совхоз прекрасно подготовился к зимовке, хорошо готовится к случной кампании. Также вы знаете, что в большом деле не обойтись без ошибок. Есть у нас и ошибки. Так и нужно подходить к вопросу: и чтоб голова от успехов не кружилась, и чтоб паники не было. Самое главное — чувствовать свою ответственность за общую работу. А что у нас получается? Полевод Шаболь валит всю вину за плохую молотбу на администрацию. А сам он, коммунист, куда смотрел? Предрабочкома — тоже коммунист — Григорьев тербит администрацию за труддисциплину. А что делает рабочком?

Так партийная организация и беспартийный актив совхоза брали у своего политотдела урок трезвого, большевистского отношения к работе.

Заканчивается собрание небольшой вечеринкой. Правда, в оркестре, приглашенном из Черногорки, не врал один только барабан, но разве это так уж важно, если молодежи хочется танцевать. Становилось жарко не только в зале, но и в коридорах. Половицы растерянно вздрагивали.

И вдруг со стороны гаража далеко в степь метнулся растерянный дробный набат.

Через минуту в клубе не было никого. За горой тяжело раненым зверем дрожало громадное зарево.

— Сено!

К гаражу со всего поселка сбегались люди. Ветер рвал их незапахнутые полы. А через минуту за гору уходил легковой автомобиль и за ним грузовик. На конном дворе скрипели телеги, звенели по мерзлому грунту кованые копыта.

Успокоился поселок только тогда, когда четверо возвратившихся с фордом сообщили, что горит где-то далеко за железной дорогой солома и что грузовик ушел туда на помощь.

Мы с Александром Наумовичем пошли домой. В эту ветреную ночь лунное небо над хуторами было похоже на холодную пустыню, в которой зябко жались

друг к другу темные отары облаков. Степи перекликались с ветром тысячами своих странных ночных голосов, напоминающих то тяжелый топот невидимых табунов, то царапанье хищника перед прыжком, то далекий тревожный набат.

А в поселке горели огни. И за теплыми стенами избушек Москва степная слушала по радио Москву все-союзную.

---

## Н Е М Н О Г О   О   П Р О Ш Л О М

---

Фитиль был подрезан неровно, и лампа горела, как утренний костер, — скупое и дымное. По стенам плясали гривастые тени. Ветер дребезжал впалыми боками стекол.

Александр Наумович тяжело опустился в деревянное неуклюжее кресло. Он не улыбался. Сейчас ему некогда было заражать своей улыбкой, некогда нагнетать безудержной энергией. Он был дома, после шестнадцати часов езды, ходьбы, разговоров, споров, докладов. Неровными синими пятнами прошла по его лицу усталость. Коренастый и плотный, он сейчас словно стекал с кресла, обессиленный, безразличный, замороженный минутой вечернего бездумья.

— Старость, что ли, чорт ее бей? Уставать стал...

— А ты что? Весь век хотел без усталости отбрыкать?

— Век не век, а все-таки... Вот постой, месяца через два кончится случная, и я в отпуск двину. Там, брат, опять подправлюсь, что надо. Да сейчас у нас, по совести говоря, и вообще-то полегче стало. Ты бы весной приехал... Тогда посмотрел бы, что это за вещь — политотдельская работа.

Александр Наумович оборвал разговор. Казалось, он отчеканивал в памяти совхозные дни, как пометки в блок-ноте, уже потерявшие свою значимость.

— Начать хотя бы с ячеек... Ты слушал мой доклад? Это ж тебе не роман Жюль-Верна, а деловой доклад. Действительно, чуть не половину коллектива пришлось перетряхнуть. Кого тут не было! Помню, какой-то Пикулев, Шамардин, Островерхов. Так разложились люди, что смотреть на них тошно. Подобрали себе штатных горлопанов, кулачем обложились, что

твой турецкий святой подушками. А сразу-то попробуй, раскуси их! Зубы заговаривать умели. Сейчас, как видишь, актив у нас есть. Крепкий актив. Но ведь его выглядеть нужно было. Работы, понятно, не велось почти никакой. Не к себе тянули, а от себя толкали. Видал Кучеренку? Чабан, что надо. Прекрасный старик. Батрак вековечный. За свою отару жизнь отдаст. Такого давно в партию надо. И хлопот даже никаких. Сам шел. Заявление уже подал. А наше старое бюро потеряло его заявление. Потеряло и молчит. Старика, конечно, обидело такое «милое» отношение. А про хакассов что и говорить! С ними не только по-хакасски, по-русски-то никто словом не обмолвился. Так и сидели у себя на хуторах. Ни обстановки, ни речи человеческой, ни развлечения, ни учебы! Ведь с азов пришлось переворачивать. Завтра поедем по хуторам, посмотришь, как чабаны начинают жить. Именно начинают. До настоящего хорошего еще порядком надо повозиться. А какие люди! Богатыри! Такие пролетарии куются... И вот с такими-то ничего не умели сделать. Недаром сегодня на собрании в резолюцию насчет директора записали, чтобы с работы снять. Он с чабаном не говорил, а рычал. Орет, суется целый день, а толку ни на грош. Кончилось тем, что когда уборочная подошла, сбежал. Форменным образом сбежал. Достал где-то путевку на курорт и — тягу. И не сказался никому. Бросил все дело на заместителя, на тов. Лиханова. За дезертирство мы его сейчас и тянем.

Начальник политотдела передернулся и стукнул кулаком по кипе газет.

— Да, пришлось покопаться в людях! И дряни много оказалось, и хороших... Ведь весь теперешний актив и тогда был. Но молчали. Растерялись и молчали. А тут, что ни ферма, то кулак пришипился. Всех их, понятно, не вспомнишь... Но вот один, для образца... старший чабан Кравец из кулаков и бывший колчаковский фельдфебель. Этот, подлец, потихоньку, ночью в колодец павших овечек сбрасывал.

Александр Наумович уже привык, как и все чабаны в степи, к этому ласковому слову «овечка».

— И падеж таким фельдфебельским маневром скры-

вал, все на волков валил, благо, их здесь до чорта, и воду травил, гадина такая...

Страницы воспоминаний перелистывались одна за другой. Тяжелая, но интересная книга.

— Была и уголовщина. Есть тут рядышком воровской в прошлом улус — Кутэнь-Булук. Все, что было честного в нем, ушло в колхоз, а остальные вообще куда-то нырнули. Так вот, из этих ныряющих тоже у нас кое-кто был. Не сами, так их приспешники... И все это надо было разобрать! Каждого в отдельности человека разобрать. Вот тебе случай: обнаруживаем, что один из арбичей — брат бандита. Парню лет четырнадцать-пятнадцать. Выгнать? Нет, постой! Давай разберемся! Выгнать никогда не трудно. Разобрались. Семья самая что ни на есть бедняцкая. Отец в колхозе. А брат с кулачем спутался, с конокрадами. Приехал я к этому арбичу на хутор. Поговорили. Ревмя-ревет, как узнал, что его увольнять хотят. Убью, говорит, сволочь. Это про брата. Я, говорит, работать хочу, в комсомол хочу. У него уж, действительно, и с комсомольцами дружба. Что тут будешь делать?

— Ну, и что же?

— Оставили, понимаешь. Смотрим, следим, помогаем. Пока-что не раскаиваемся. Ударник, каких мало.

Наконец, кажется, последняя страничка:

— Штаты подбирались с бору, да с сосенки. Людей не было. Кто хочешь, тот и иди. Ну, и шли. Бухгалтер, например, пришел. Работник, как работник, не блестящий и не плохой. Но пьет. Подряд вот две недели себе командировки обдывал — то в Минусинск, то в Абакан. Устроили мы ревизию. Дела, как будто, в порядке. Но пример какой для конторы! Сам распустился, других распустил. И здесь начали пить. То в одной хате попойка, то в другой. Хотим товарищеский суд как-нибудь устроить, взбудоражить. Терпеть такого работника в совхозе мы не можем.

Александр Наумович поморщился.

— Много еще, братишка, возни будет. Много. Главное, культуру! Культуру в степь. Нашу культуру, советскую.

И он встал. Потянулся к патефону.

— Поставим что-нибудь. А? Я, чорт возьми, о театре иногда скупаю. Оперу люблю. И вообще музыку...

Пластинка зашуршала, начиная свой стремительный бег. Но дослушать ее до конца не удалось. В комнату шагнул озябший, запыхавшийся Константинов. *g dmit*

— Слыхал новость?

— Какую еще?

— Бухгалтер-то наш... Сбежал.

— Как сбежал?

— Очень просто. Как люди бегают. Собрал все свое барахлишко, жинку под ручку и сел себе в бричку. Откуда-то лошадь достал.

— Тьфу, чорт! Он хоть отчитался?

— Отчитался. Должно быть, почувствовал, анафема, что мы ему трудовой список повторить можем... Ну-ка, заведи что-нибудь пожизнерадостнее!..

---

## ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА СОВХОЗА

---

Молодой счетовод, только-что подобравший мне кое-какие цифры, рассеянно постучал по столу мундштуком «Северной пальмиры» и неожиданно, зато вполне убежденно подвел баланс:

— Для вас вся эта наша меланхолия, конечно, играет свою роль. С высокой точки зрения, в ней, понятно, кое-что имеется. Для литературы. Но, если взять по существу... Вчера у нас в клубе историю комсомола разбирали. Вот были времена! Доведись такие до меня,— я бы кажется... ух, чего натворил! А тут что?

— Никаких героев?

— Какие же вокруг овец герои!

Разочарованный москвич уныло осмотрелся. У крыльца о чем-то спорили хакасы-чабаны. Пробежал чумазый тракторист. И вправо, и влево взмывали кверху желтые, чуть-чуть прошитые снегом холмы — ровные, похожие один на другой, как сорванные ветром осенние листья. Только в одном углу, со стороны Коксинского хребта, надвинулась на степь иссиня-фиолетовая горная гряда. Словно громадная ленивая волна дальнего северного моря, катилась она сюда и стыла в холодных хакасских ветрах, пока не застыла совсем, чуть-чуть не доплеснув окаменевшей пеной до конторы совхоза.

За окном рывкнул автомобиль.

— Ну, пока!

— Пока.

Машина на тормозах сошла к ручью. Приостановилась. Потом осторожно, как будто бы боясь подмочить подол своего нарядного голубого платья, перешагнула ручей и рванулась в бескрайнюю степь.

За рулем сидел Александр Наумович. Он здесь в совхозе успел уже приобрести еще одну специальность, неизвестно которую по счету, — шофера. Машина плавно катилась от хутора к хутору, с фермы на ферму. И все степью, степью. Встречали нас только артезианские колодцы да редкие отары овец. Тогда чабан, сопровождавший отару, приподнимался на стременах и долго смотрел нам вслед. Он уже привык ценить машину. Форд, на котором мы едем, прошел 15 тысяч километров. А до ремонта ему еще далеко. За два года в этом уголке степи им проложена не одна совершенно новая дорога.

Но вот и хутор. Центральный хутор фермы № 4. Среди кошар, заброшенных землянок и старых юрт, приспособленных под склады, свысока поблескивает окнами чабанский дом. В первой комнате старуха-хакасса штопает чулок. За таким занятием я хакаску заставлял впервые. Во второй — подавали на стол самовар. Комнату в конце коридора занял красный уголок. Пока в нем несколько журналов, гитара, балалайка. Кто-то объясняет:

— Концерты уже даем. Скоро спектакли будем ставить.

— Да где вы здесь поместитесь?

— А много ли нам нужно? Пять-шесть артистов да человек десять зрителей. Больше-то у нас и народу не будет.

Заведывающий фермой Аверьянов был дома. Он перелистывал что-то в роде справочника овцевода. Десяток других книг по овцеводству лежали на столе вместе с ленинскими сборниками, полным собранием сочинений Маркса и Энгельса, историей партии.

— Овладеваешь техникой?

— Приходится.

— Не знаешь, где Инкижеков?

Инкижеков, старший чабан и секретарь комсомольской ячейки, оказывается, тоже был на хуторе.

— Но где, определенно не знаю. Скорее всего в кошаре.

Это было почти верно. Старший чабан с охапкой сена в руках торопливо шагал из степи по чахлойд, озябшей траве. Сено он тасил осторожно, как крынку со сметаной. Так все вместе — он, сено и мы — и вошли в широкие ворота кошары.

Сено предназначалось больной овце, примостившейся за загородкой.

— Зверь порезал.

— Опять волки?

— А когда их нет!

— Много порезал?

— Не успел. Отбили.

Утром Инкижеков на руках принес овцу в кошару. Промыл рану и сейчас подкармливает ее сеном.

— Здорова будет овечка! — он перекладывает ее на другой бок, поглаживая свалывшуюся шерсть. Овца тревожно поднимает голову. Кажется, из овечьей памяти еще не вычеркнута ночь, наверное, самая трагическая в ее несложной жизни.

— Здорова будет овечка! — повторяет Инкижеков.

В кошаре тепло и чисто. Пол ровно подметен. Столбы и стены отсвечивают известью. И даже стекла только-что протерты. Рассеянный осенний свет мягко ложится на утопанную землю.

От овечьего медпункта мы перешли в осеменаторскую. Здесь еще лучше. В смысле чистоты эту комнату уже ничем не отличишь от любой квартиры хутора.

— Готов?

— Боюсь, товарищ Ганкин.

— Чего? Курсы кончил одним из первых...

— Курсы! В моей отаре без малого тысяча голов. Да Пархоменкову отару мне прикрепили. И там, и тут сто процентов осеменения требуется...

— Не унывай, поможем!

Садясь в машину, Александр Наумович успел произнести небольшое похвальное слово:

— Преданный парень! Ягнят так же вот, как эту больную, на руках вынашивает. Отару знает, как свой родной язык. А почему, спрашивается? Место боится потерять? Подумаешь, какое несчастье выбраться из этой дыры! Вот почему я тебе вчера говорил о героях... Чтобы жить на хуторе в сорока километрах даже от нашей Москвы, чтобы кроме овец и волков никого не видеть и так работать, — для этого, конечно, нужно быть героем. Самым настоящим. Много ли для них мы сделали? Мало еще. Очень мало...

Я вспомнил разочарованного счетовода.

Второй раз я его вспомнил, когда мы на следующей ферме разговаривали с секретарем партийной ячейки тов. Шалгыновой. Она обучала чабанов обращению с микроскопом. Перед этим, говорят, учила мыть шерсть. Она знала все, что нужно было знать рабочему совхоза. А много ли она училась? Шалгынова сама говорила, что до совхоза она не замечала, как ярко светит солнце, — некогда было замечать в чужих людях.

На следующем хуторе пришлось ввязаться в спор. Нападал Кучеренко.

— Я тебе бачив, не элизу с твоей шеи, пока не дашь!

Защищался завхоз:

— Откуда я тебе возьму так вот сразу?

Начальник политотдела выступил посредником.

— В чем дело?

— Та завхоз другой день собак не кормит. Приехал с отары по его душу.

— Почему не кормишь?

— Первый раз, товарищ Ганкин, вышло. Перебой случился. И всего-то на двое суток.

— Ни на час нельзя!

Собравшиеся чабаны поддакнули:

— Вся надежда на собаку! А в ей, голодной, что за сила?

Хуторские овчарки, словно понимая, о чем идет речь, со всех сторон потянулись к спорщикам.

— Так слушай, завхоз, чтобы это у меня в последний раз! Собак голодом не морить!

- Слушаюсь, товарищ начальник.  
А Кучеренко усмехнулся в сторону:  
— Положим воны не шибко заморылись!  
— Чего ж ты жалуешься?  
— По форме жалуюсь. Мы ж им всей бригадой свой хлеб роздали. А теперь за хлебом сюда ехать?  
— Далеко отара?  
— Та не особенно. Километров с десятков.  
— С кем оставил?  
— С Арыштаевой.  
— Надеешься?  
— Цены девке не сложу.

Арыштаеву мы встретили потом в степи. Отара двигалась темным, еле колыхавшимся пятном дружно и ровно. В самом центре ее шла невысокая, гибкая девушка с берданкой. Глаза ее сторожко обегали степь.

Александр Наумович не удержался:

— Видали? У такой волкам не поживиться!

А дальше на разговоры нам не повезло. Старшие чабаны седьмого хутора — татарин Арасланов и хакасс Жульмин — соревновались. У обоих сложено было по три стога сена, а четвертые у того и другого вытянулись от земли совершенно одинаково — метра на два. Как-раз, когда машина подошла к стогам, с другой стороны степи под'ехали возчики с сеном. Арасланов и Жульмин, поглядывая друг на друга, взялись за вилы.

Даже наш приезд не мог их оторвать от дела.

Впрочем, мы не возражали: работу что ли из-за нас бросать?

---

## ОДИННАДЦАТИЛЕТНИЙ ГЕРОЙ

---

В газете политотдела «За социалистическое животноводство» я вычитал заметку:

В степях совхоза появилась масса волков. Плохая участь грозит той отаре, где нет зоркого и бдительного глаза чабана, помощника и арбича. Нередки случаи, когда зверь подкрадывается и

бросается в отару, оставляя после себя десятки зарезанных им овец.

Образец преданности и бесстрашной борьбы с волками показал одиннадцатилетний арбич с четвертой фермы Илюша Чертыков. Ему было поручено ответственное дело — пасти гурь коров. Илюша хорошо усвоил, что первая обязанность гуртоправа и чабана — сберечь и сохранить каждую голову скота.

И поэтому, когда Илюша заметил приближение трех волков к отставшей корове, он собрал все свои силы и с палкой в руках бросился спасать корову, от которой уже звери были в нескольких шагах. Несмотря на его крики, звери приближались. Илюша подбежал к одному из волков и ударил его палкой, остальные два отбежали в сторону.

С полчаса продолжалась неравная борьба маленького героя Илюши с волком. Жизнь его находилась в опасности. В нескольких местах его шуба была порвана зверем. Но главное для Илюши — коровы и овцы — спасены.

Александр Наумович предложил сам:

— Хотите посмотреть нашего героя? Идемте!

В школе в это время была как-раз перемена. Девора обступила нас со всех сторон.

— А вот и Чертыков! Да ты чего боишься? Подойди-ка, подойди! Волков не трусил, а тут — пожалуйте.

Ребята расступились и прямо передо мной растерянно теребил шубенку худенький, невзрачный мальчуган, который даже в шапке едва доставал мне до пояса. Я недоверчиво взглянул на спутника.

— Он, он!

Но говорить с героями, особенно малолетними, задача нелегкая. Илюша убежал.

— А как он учится?

Учительница, пожалуй, не совсем довольна:

— Отстает пока. Усидчивости нет. Из степи они сначала все такие. Но старается. Начинает уже буквы складывать. Мальчик упорный. Пойдет.

---

## ПОДМОСКОВНЫЙ БАССЕЙН

---

### К У Т Э Н Ь - Б У Л У К

---

Там, где Коксинский хребет последним крутым обрывом падает в стень, у темного узкого ущелья приутился к густому кустарнику Кутэнь-Бурук — улус, который не так давно еще пользовался славой воровского.

Сейчас Кутэнь-Бурук — тоже один из тех улусов, которых уже не найти на картах Хакассии. Половина его ушла в колхозы на новые земли, кто перешел на работу в совхоз, а кто канул неизвестно куда. Три последних семьи ушли из улуса недавно. Они упорно держались за старое насиженное место, не совсем удобное для скотоводства, совсем неудобное для земледелия, но очень подходящее для опасного ночного промысла. Чем жили эти три семьи — никто хорошенько не знал, но догадывались многие. Так тянулось до тех пор, пока в совхозе не заметили крупной пропажи овец. Следы вели в Кутэнь-Бурук. Но когда люди, прочитавшие язык следов, отправились в улус, там никого уже не оказалось. Кутэнь-Бурук был пуст. Но до сих пор еще среди десятка его юрт вы безошибочно найдете эти три юрты, — до того отчетливо в них сохранились следы поспешного бегства.

В одной из юрт вы можете наткнуться на старинную икону, изображавшую когда-то самые разнообразные крестные муки. Уже одна эта икона кое-что говорит о вкусах и характере бежавшего хозяина.

Дальше, среди всякого мусора, разбросанного по

полу, — среди обломков веретен, осколков посуды, обрывков кожи, блях, каких-то побрякушек, может быть, еще и сейчас сохранились разорванные клочки бумаги. Тут и квитанция о сдаче сельхозналога, и вызов в сельсовет, и какой-то акт. Если повнимательнее пробежать их, то социальная физиономия беглеца становится значительно яснее. Но окончательно рассмотреть ее можно было только заглянув за старые, расколотые доски, брошенные там, где полагалось стоять хозяйской кровати. Там лежали два не совсем обделанных крыла ночной птицы — филина. Оставить такие крылья мог только шаман.

Но в историю Хакасского совхоза этот улус входит по иному поводу.

Когда Кутэнь-Будук еще не разошелся, один из рабочих-хакассов совхоза — Семен Полынцев, — заслушался здесь как-то чаттханиста. Уж очень хорошо рассказывал старик о старых богатырских курганах Кутэнь-Булука.

— Издали видны гордые головы и широкие плечи здешних курганов. И есть, говорят, среди них такой, под могильными плитами которого давным давно зарыта золотая лошадь...

Полынцев рассказал старую сказку своему прямому начальнику — старшему колодезнику Прилуцкому.

Прилуцкий задумался.

---

## КАК НАЧИНАЛАСЬ ШАХТА

---

Несколько месяцев бродил колодезный мастер Прилуцкий по степи вокруг Кутэнь-Булука. Для него было ясно, что золотая лошадь — выдумка только отчасти, что когда-то здесь добывали или золото, или медь, или алмазы.

И, действительно, старый колодезник наткнулся на полусгнившие остатки древней шахты. Но шахта была залита водой так, что откопать ее оказалось невозможным.

Под другим курганом Прилуцкий нашел осколки древнего тигля. Само собой разумеется, что все эти поиски были, так сказать, добровольной обществен-

ной нагрузкой старшего колодезника. Основной его работой оставалось водоснабжение совхоза.

В конце концов, копаясь то в одном, то в другом уголке степи, он докопался до угля.

На другой день на скважину приехали политотдельцы. Посмотрели образцы угля. И совхоз решил заложить у Кутэнь-Булука собственную угольную шахту.

Так степная Москва открывала свой подмосковный бассейн.

О том, как строилась шахта, лучше всего расскажет письмо самого Прилуцкого и ударников строительства. Трудно удержаться от соблазна процитировать это замечательное письмо замечательных людей нашего времени.

Шахта наша закончена и вступила в эксплуатацию. Углублена на 40 метров. Пройдено два пласта угля. Один пласт на глубине 29 метров в 4,40 м. Второй пласт мощностью в 3,90 м. Между ними сланец (порода) — 1,20 м. Пласт угля отнoшу к эпохе юрского периода.

Углублять шахту мы начали с 15 августа и закончили к 15 ноября без выходных. Далеко только ездить было за продуктами.

По 20 января 1934 года добыто угля 300 тонн и увезены они совхозом нарасхват по хуторам на автомобилях. Думаем к съезду партии дать угля в достаточном количестве совхозу и запастись на лето для полевых работ, чтобы легом переключить наших рабочих на водоснабжение. Шахта наша будет поить овец, так как ниже пластов угля на расстоянии 2 метров имеется вода, годная для водопоя. А места вокруг шахты ты знаешь — выпаса богатые и защищенные от ветров с севера.

Шахту пришлось углублять в тяжелых условиях: в открытой степи, от центрального хутора Москвы в 25 километрах. Помощь с технической стороны никем оказана не была — правильно идет работа или нет. Не было оборудования. Шкивы сделали из колес от сенокосилки. Канат сплести из двух один.

Сейчас работает в шахте всего девятнадцать человек, из них 8 человек забойщиков, 4 человека на под'еме угля, 2 человека на сортировке, 2 че-

ловека на подвозке крепей, 2 плотника и 1 кузнец. По национальностям у нас 5 хакассов, 4 корейца, 4 казака и 6 русских. Все товарищи работают дружно, имеются ударники, которые выполняют и перевыполняют норму выработки. Забой с забоем соревнуются.

В 1934 г. думаем на шахту приобрести локомобиль и динамомашину лампочек на 30.

И еще сообщаем тебе, что на шахте мы поставили на место землянки, которую ты видел, две избушки, где сейчас и помещается 20 человек, и мало-мальскую баню. Включили в промфинплан дом саманный для рабочих, так как глина здесь очень хорошая. Весной думаем коллективно устроить огород, посадим картошки, капусты и немного проса. Земли вспахали около гектара и устроили снегозадержание. Думаем, что на будущий год будет у нас своя картошка.

Ударники Хакасского совхоза «Овцевод» Прилуцкий Афанасий, Аксанов Фахретдин, Саймигуллин Григорий, Гурков Григорий, Саражаков Петр, Горбунов Гордей, Тороков Петр.

Это действительно ударники. Их надо было видеть на работе! Животноводческий совхоз, конечно, не мог им оказать технической поддержки. Они все должны были делать сами — начиная от планировки и технических расчетов, кончая жилстроительством и эксплуатацией шахты. И все это они делали, — эти девятнадцать человек четырех национальностей.

---

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

---

Взята эта коротенькая выписка из протокола второго слета ударников хакасского совхоза «Овцевод»:

**Слушали:** Сообщение начполитотдела тов. Ганкина о строительстве угольной шахты совхоза «Овцевод».

**Постановили:** Присвоить угольной шахте совхоза «Овцевод» название: «шахта имени Афанасия Прилуцкого».

---

## КРАСНОЗНАМЕННАЯ 7-БИС

---

### МУЗЕЯНКА НАШЕГО ТИПА

---

Кто из людей, изучавших Хакассию и побывавших в Хакассии, не знает Александры Ивановны! Сѣрьезно образованная и глубоко культурная, она может служить живым справочником по хакасской старине и Хакассии сегодняшнего дня. Даже несмотря на то, что десятки лет ее жизни протекли вдали от родных улусов. Сирота и батрачка в детстве, Александра Ивановна по какому-то капризному излому судьбы в ранней молодости попала в Россию. Там она получила высшее образование, там прошла и практическую школу партийной работы. В Хакассию она вернулась уже после революции. Но это не мешает ей любить и знать Хакассию так, как не знают ее люди, прожившие в долине Абакана или Белого Юуса всю свою жизнь.

С Александрой Ивановной сначала меня познакомил Эпчелей. Заочно.

Как-то вечером, когда в окна неистово колотился осенний ветер, а в печке чуть слышно звенел раскаленный уголь, мы сидели с ним за остывшим чаем и вспоминали.

— Эпчелей! Ты не знаешь случайно, что случилось с тем студентом, который был когда-то с тобой на «Соколе» и которому ты собирался отплатить?

Эпчелей оживился.

— Вообрази себе, что я его действительно встретил. Но отплатить не пришлось. За меня отплатила ему

жизнь. Она у него сложилась, как и должна была сложиться. Сын фабриканта, он шагал в ногу со своим классом. При Колчаке Михаил Степанович был военным инженером, что-то строил, а потом, при отступлении, взрывал. Когда ему надоело отступать, остановился. Стал служить. И через несколько лет попался во вредительстве. Отбыл заключение. Встретил я его совершенно случайно в Новосибирске, на одном из технических совещаний. Он здорово постарел и согнулся. Вернее сказать, его согнуло. Но работает, говорят, честно. Понял то, что надо было понять с самого начала. Он все-таки был неглупым человеком.

Ветер попрежнему колотился в окна.

— Жаль, что умер Александр Рудольфович. — По серьезному лицу Эпчелея проскользнула легкая тень сожаления. — В прошлом он очень много сделал для меня и я его любил, хоть мы и расходились с ним во всем или почти во всем. Теоретически он был вполне советским человеком, но как-то не выходило это у него. Старое воспитание, старая школа... Эта унылая, никчемная мировая скорбь... Мне жаль, что он не может посмотреть Хакассию сегодня. Может быть, он тоже понял бы кое-что, старый музейник.

Тут-то Эпчелей и рассказал мне о музейнке нового типа.

С самой Александрой Ивановной я, к сожалению, виделся очень недолго. Нам обоим в этот день было некогда. Она успела дать мне только несколько справок о старых родовых отношениях. В ее хорошей голове как-то удивительно легко укладывались все эти тубинские, шалошинские, тинские, старо-июсские роды качинского племени, ближние и дальние каргинцы, изушерцы, карачерцы племени сагайского...

Прощаясь с ней, я вспомнил опасения некоторых местных и приезжих знатоков Хакассии, витиеватую речь Саттыха и спросил ее, что она думает о пролетаризации хакасцев.

— О необходимости и неизбежности создания хакасских пролетарских кадров говорить, конечно, не приходится. Труднее решается вопрос о некоторых национальных особенностях. Мешают они или нет? Конечно. Но мало ли странных вещей случилось за эти годы в Хакассии! Разве я думала когда-нибудь,

что здесь будет 244 школы? Разве снились мне в молодости больницы, фельдшерские пункты, ясли? Вы знаете, кстати сказать, что в Хакассии издается 14 печатных газет и строится дворец культуры? А завтра сходите в наш театр. Там идет «Первая конная» на хакасском языке. Видите, как все стало относительным в наше время. Но, конечно, несколько тысячелетий пастушеского прошлого забыть не так легко, как хотелось бы. Вопрос этот изучают, кое-что уже сделано. Во всяком случае, на лесозаводе хакас чувствует себя прекрасно. В шахтах иногда не выдерживает и уходит, хотя большинство и здесь работает неплохо. Если вы попадете на Черногорские копи, увидите сами. Там есть шахта, на которой заняты главным образом нацмены. Именно там, кажется, национальные особенности в какой-то степени учитываются. Наверное, есть некоторый подход, чуточку иной, чем к русским рабочим.

Александра Ивановна улыбнулась:

— Я вот выросла уже в европейских условиях. А представьте, что до сих пор каждую весну и осень у меня начинается какая-то кочевничья тоска. И вот я начинаю перестановку в комнатах. И до тех пор не успокоюсь, пока не переверну все вверх дном, пока не переставлю все с места на место. А вот дети смеются. Им это уже непонятно.

---

## Ш А Х Т А С Е М Ь - Б И С

---

В раскомандировочной скамье все заняты, и он сидел на корточках в углу, прикусив резной мундштук давно погасшей трубки. В этой позе узнать в нем хакасса было легче. Мы разговорились.

— Давно ты сюда попал?

— Да уж года два будет.

— Один?

— Нет, все пришли: и отец пришел, и мы пришли, три брата. В колхозе были. Однако, год ли, полтора...

— Колхоз послал?

— Нет, сами пошли. Председатель спрашивал — кто хочет итти. Вербовщик приехал. Охотников-то мало. Отец говорит: я пойду. Мы, говорим, тоже пойдем.

Всем, так всем. Отец теперь плотником, один брат — продавцом, один — верхним десятником, я — забойщик.

— Ну, и как работается?

— Да ничего будто. Уходить не собираемся  
Забойщик чуть-чуть задумался.

— Сначала я, друг, здорово испугался. Где вижу ничего, не пойму ничего. Голова, как хазан старый, трещит. Ну, думаю себе, не сиделось отцу в колхозе! Чем плох колхоз? Бежать ли, чего ли теперь? Однако, смотрю: работают другие. Видят, видно. Не темно им, думаю. А потом пошел да пошел. Не хуже людей-то.

— Танзыбаев! — выкрикнул десятник.

Он легко поднялся, поправил лампу на старой па-  
стушечьей шапке и протянул руку:

— Амчжох! Будь здоров! Приходи в шахту.

Раскомандировочная пустела. Только клубы табачного дыма долго еще плыли к потолку, напоминая об ушедшей смене.

✓ Ко мне подошел Трунов, десятник:

— Пошли?

— Пошли!

По всей наклонке вслед за вагонетками катился веселый смех. Трунов даже заворчал:

— И когда их только успокой возьмет?

У второго запасного штрека старому десятнику пришлось и вовсе рассердиться. Инцидент дал себя знать еще издали. Кричали враз четыре человека. Больше всех волновался казак Нананбаев. Он размахивал сразу и руками, и бараньим малахаем:

— Давай вагонетка! Твой вагонетка нет! Твой смена кончал.

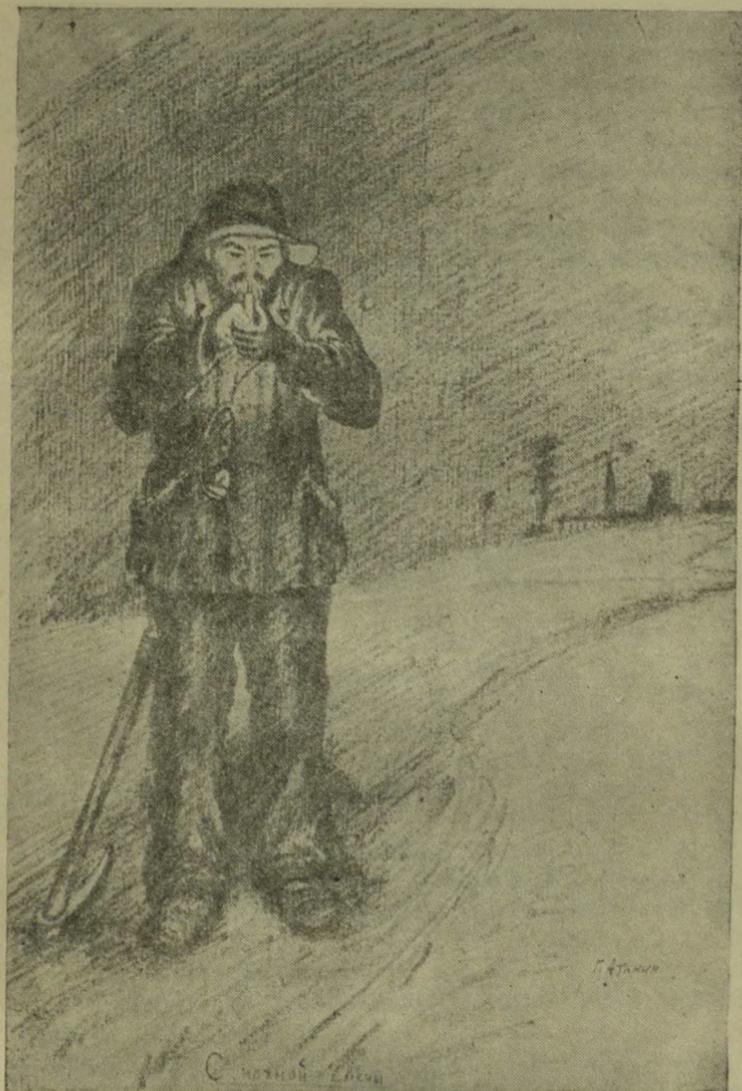
И Трунов уже издали знал — в чем дело.

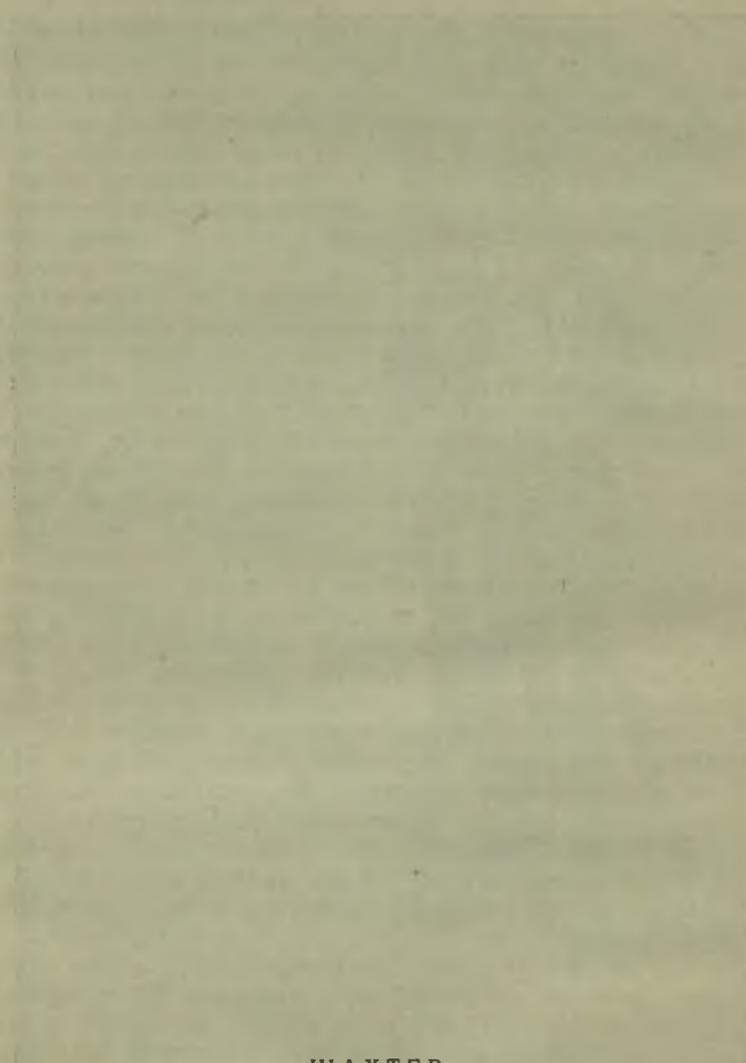
— Каждую смену история.

— А что?

— Да никак старая смена не уйдет, чтобы не затянуть минут на двадцать. Им хочется, видишь ты, лишнюю вагонетку выдать. А этим тоже не резон их дожидаться. Время-то вышло. Силком чертей из шахты гнать приходится.

Авторитет десятника в полминуты разрешает спор,





ШАХТЕР

Рисунок хакасского художника-самоучки Г. Аткина.

и Нананбаев победоносно вздергивает малахай на самую макушку:

— Вот какой народ шахтер есть. Упрямый, как иншак.

— Ничего, ничего, Нананбаев. Ты свое возьмешь.

— Когда возьмешь? Как возьмешь? Тюлюмбаев сто сорок просент дает! А этот народ вагонетку держит.

И забойщик расплылся в темной выбоине штрека. Трунов дополнил:

— Это, видите ли, два казака соревнуются. И так им отстать друг от друга не хочется... А посмотрели бы вы их, какими они к нам пришли! Кайлу в руки взять не знают как. Теперь же мы на электросверла их поставили. Попробуй, угонись!

По дороге из забоя в забой десятник сообщает, что шахта 7-бис получила за последний год два знамени — красное знамя Крайсовпрофа и переходящее районное.

— Говорят, правда, что на нас сейчас здорово шахта 8 нассдает. Ну, да мы еще начешем им!

— Есть среди хакассов настоящие ударники?

— Порядочно даже есть.

Трунов перечисляет первые вспомнившиеся фамилии: бригадир Петро Картин, Шалгынов, Калмаков, Балыков, Салтыгашев...

— Один из хакассов — Алжибаев — у нас даже на врубовой работал. И хорошо работал. Жаль, что машину пришлось убрать — не подходит к пласту.

В забое четвертого западного штрека работали трое русских и один хакасс. В шестом — наоборот: три хакасса и один русский.

— Тоже соревнуются!

По лицам, густо занесенным пылью, довольно трудно было угадать, кто тут русский, кто хакасс и кто казак. А отличить их друг от друга по работе невозможно.

Я вспомнил Саттыха.

— Главное, расстановка сил! — закончил свой рассказ о шахте Трунов.

Он из скромности не сказал, что расстановка сил на участке — его большая и серьезная заслуга. Дмитрий Петрович на коях с 1910 года. За это время бывал и забойщиком, и запальщиком, и горным де-

сятником. Опыт нешуточный. И, что особенно важно, — опыт этот не остается его личным достоянием. Он передает его хакассам-новичкам. Не поэтому ли на его участке за последние месяцы план выполнялся на 120, на 125 процентов!

В забое Картина пласт подорван отпалкой еще до прихода рабочих. Об этом позаботилась предыдущая смена. И в пустую вагонетку сразу же сыплется с грохотом уголь.

Пока русский Демидов крепит подозрительный вывих кровли, хакасс Канзыбаев грузит вагонетку. А стоит ей уйти к штреку, и Канзыбаев, чтобы не терять времени, помогает Картину отбивать от пласта за глыбой глыбу. Не только помогает, но и учится. Удар Картина для него — образцовый удар. За три упряжки — четыре нормы. Между прочим, Картин работает только третий год...

Его учил Трупов, он учит Канзыбаева и семнадцать других.

---

## РАЗГОВОР В КАБИНЕТЕ ГЛАВИНЖА

---

Комната главного инженера шахты 7-бис — это грубый деревянный стол, две табуретки и длинная скамья. Обстановка, с которой довольно трудно увязывается обычное представление о кабинете. Впрочем, это несколько не мешает заведывающему шахтой — старому забойщику Тихону Петровичу Макаrchуку — и молодому главинжу — тоже бывшему забойщику — Яну Ламбертовичу Сверчу прекрасно управлять шахтой.

Здесь и заканчивался разговор о шахтерах-нацменах.

— Ну, хорошо! Я уже знаю, что ваша шахта считается лучшей на Черногорке. И знаю, что эта шахта — национальная. Мне бы хотелось узнать — какими методами вы добились таких успехов.

Завшахтой и главинж переглянулись. Рассказывать о своих победах — это далеко не так просто, как кажется.

— Да как вам сказать?.. Общие, по-моему, методы. Ну, соревнование, кружки, производственные совещания...

Главинж вместо ответа отчеркнул ногтем абзац в своей статье, только-что помещенной в «Шахтере»:

Шахта не механизирована, но те механизмы, которыми она работает (электросверла), используются хорошо. Если плановая нагрузка электросверла колеблется около тысячи тонн в месяц, то наше сверло дает в среднем 2100 тонн, что составляет 210 процентов. Этих показателей шахта добилась в результате последовательного выполнения решений ЦК и СНК и указаний комиссии ЦК, правильной расстановки рабочей силы и социалистической организации труда.

— Все это, конечно, правильно! Но, как бы вам сказать... не особенно конкретно. Есть же какая-то разница в подходе к русскому шахтеру и шахтеру-хакассу?

Завшахтой и главинж, в поисках поддержки, переглянулись еще раз.

— Есть, конечно. Но большой разницы сейчас мы не видим. Шахтеры, как шахтеры. Только на первых порах, понятно, нельзя было не учитывать некоторых особенностей. Люди еще не привыкли к новому труду. Следили, чтобы не перегрузить, пока не втянутся. Если трудно — перебрасываешь временно на поверхностные работы. Налегали на бытовые условия.

— Ну, вот вам еще один пример! — Ян Ламбертович опять потянулся за газетой. — Это письмо написано нашими хакассами и казаками. Обращение к другим шахтам:

На нашей шахте занято 275 рабочих, из них почти половина хакассов и казаков, работающих в забое всего лишь один или два года. Однако, это нисколько не мешает тому, что у нас насчитывается только 10 проц. рабочих, которые не выполняют своих заданий. Мы добьемся, что и эти 10 проц. будут ударниками. У нас много таких, как тов. Тюлюбаев, тов. Каргин, Нананбаев, Сидоров, Черкасов, которые выполняют свое задание ежемесячно на 150-160 проц.

Товарищи! До каких пор вы будете плохо работать и когда вы перестанете тянуть рудник и Кузбасс назад?

Мы спрашиваем вас, когда вы бросите пиянь-

читься с прогульщиками, с виновниками простоев и всех производственных безобразий, когда вы серьезно возьметесь изучать механизмы и дадите им полный ход?

— Письмо, понятно, немного отредактировано. Но написали они его сами, по своей инициативе. Это же значит, что вчерашние пастухи стали настоящими рабочими! Они всей душой болеют за производство. Не только за свою шахту, а именно за все производство. Это самое главное. Как почувствовал эту самую штуку, — кончено! Значит, свой. Навсегда!

---

## ШАХТЕР НА ПОВЕРХНОСТИ

---

За общим столом прямо против меня расположился здоровенный, широкоплечий парень. Если бы не громадная деревянная пуговица под самым подбородком, если бы не отложной воротник и не десятки мелких складок под ним, я, пожалуй, не определил бы его национальность, даже несмотря на резко вычерченные скулы, на темные раскосые глаза. Слишком уж он не был похож на тех, кого я видел до сих пор в степи.

Он ел котлетку из конины. В столовой шахты 7-бис из котлеток секрета не делают, и честная хакасская конина здесь никогда не попадает на стол под псевдонимом говядины.

И совершенно правильно. В этот день, например, столующимся предлагали котлеты из конины и свинины. Хакасы выбирали конину. Степнякам это мясо привычнее.

Громадные окна словно глотали солнце, широко разбрасывая по столовой робкое осеннее тепло. На столах не клеенка, а белые скатерти. Действительно белые. Не потому, что они вышли белыми с фабрики. И, наконец, пальмы.

Добрая половина обедающих — хакасы. Были и казаки — тоже степняки, тоже люди, в прошлом почти не слезавшие с седла.

Спокойный гортанный говор переплескивался от стола к столу. И весь он был переплетен производственными терминами. Об электрическом сверле гово-

рили здесь с таким же знанием дела, как в нескольких километрах отсюда говорили о коне.

Рабочие бараки мне показывали очень остроумно. Сначала мы попали в невероятно грязную комнату. Можно было подумать, что ее не мыли целый год. Цветные платья валялись вперемежку с хлебом и пимами. На полу стояли какие-то чашки, на столе — ведра.

— Не удивляйтесь! — усмехнулся мой спутник. — Эти люди только-что приехали из улуса. Через год вы этой квартиры не узнаете. Как-раз сейчас мы с вами посмотрим, что с ней будет через год.

Так я попал в квартиру Василия Ильича Шалгынова.

Большая светлая комната. Казалось, будто ее победили только два дня тому назад. Над столом электрическая лампочка. Детская кроватка аккуратно покрыта одеялом. На большом обеденном столе — скатерть, на окнах — цветы, на стенах — карточки. Под портретом Ленина часы. Только вот под часами... маленькая незаметная иконка. Из песни слова не выкинешь.

Василий Ильич смущенно мнется:

— Это все жена! Никак не уговоришь.

В квартире отдельная кухня. В коридоре теплая уборная. Там же умывальник.

А ведь Шалгынов десять лет был батраком! Жил то на гумне, то в бане.

Еще лучше выглядела комнатка Екатерины Ермолаевны — заведывающей детсадом, в прошлом — тоже батрачки из улуса Тибек.

— Что я видела? Что я знала? Я рожала в юрте на грязной кошме и на другой день шла на работу. Детей я воспитывала так, что вспомнить стыдно. И вот их у меня нет. Ну, хоть чужих сейчас воспитывать научилась.

У нее действительно была совершенно жуткая жизнь.

— Помню, заболела тифом. Привели ко мне шамана. Взяли меня двое под руки, стали держать, а шаман льет на голову воду со льдом. Лил, пока волосы на макушке не смерзлись. После этого я рассудок те-

ряла. Счастье мое, что на всю жизнь сумасшедшей не осталась.

Екатерину Ермолаевну перебило радио.

— Алло! Алло! Алло! Слушайте! Говорит Новосибирск...

---

## О ЧЕМ ДУМАЛ ПЕТРО КАРТИН

---

С крыльца конторы шахты мы спускались уже поздним вечером. Из степи тянуло холодным вѣтерком. Внизу полыхал электрическими фонарями рабочий поселок.

Ян Ламбертович показал рукой на пригорок около шахты:

— А вон и наш бригадир — товарищ Картин!

Бригадир оглядывал темные дали.

И вправо, и влево, и вперед уходила озябшая степь, отороченная чуть заметной в темноте невысокой горной цепью.

В этой степи Картин родился и вырос. Еще мальчиком-подпаском он протапывал здесь тропы на чужом коне. Каждый ручей, каждый курган, каждый камень был знаком молодому пастуху.

О чем же он думал сейчас? О родном улусе, глубоко черпающем новую жизнь? О юрте, в которую он никогда и ни за что теперь не вернется? Или, может быть, он вспомнил быструю степную речку Уйбат?

О чем можно думать, глядя на крупные звезды и степь?

В эту минуту бригадир обернулся к нам:

— А, товарищ Сверч! Я вот, как-раз, товарищ инженер, все думаю — что, если нам завтра угловой не крепить, а перебросить всю первую смену в четырнадцатый забой. Там у меня что-то с кровлей не ладится...

---

## ГЛАВА О ЛЮДЯХ

---

### МАРИЯ АНДРЕЕВНА ПЕТРОВА

---

Теленок глухо, по-стариковски, кашлял. Худой и облезлый, он был похож на пустой рогожный кулек. Но он сохранил чувство благодарности. И когда Мария Андреевна перешагнула порог телятника, он ласково хмыкнул и потянулся к ней всем своим неказистым телом. Однако, ноги не выдержали и если бы Мария Андреевна не подхватила его во-время, теленок тяжело рухнул бы в сухую мякину, густо разбросанную по полу.

Он сейчас единственный больной молочно-товарной фермы колхоза «III Интернационал». Месяц тому назад похожих на него были десятки. Паратиф так разгулялся по Большой Сее, что заставил Марию Андреевну до осени превратить телятник в изолятор. Молодняку фермы грозила нешуточная беда. Правление нервничало.

Мария Андреевна и ее телятницы почти не спали. Завтракали, примостившись где-нибудь на бревнах у фермы. Но больных выходили всех до одного. И теперь в стаде их ничем не отличить от неболевших сверстников.

В нескольких шагах от скотного двора, в избенке, наспех приспособленной под временное стойло, откармливаются к выставке четыре метиса с самыми неожиданными кличками — «Змей Горыныч», «Юпитер» и т. д. На ферме их любовно зовут симменталятами.

Мария Андреевна по памяти перечисляет:

— «Витька» родился 18 апреля, «Юпитер» — 2 мая...  
А какие вымахали!

Пятимесячный «Змей Горыныч» весит 156 килограммов, и если с ним рядом поставить его ровесника — «Мышонка», тот действительно покажется крохотным зверьком.

Симментальята — гордость всей Больше - Сейской МТФ — одной из лучших колхозных ферм Таштынского района.

История молочно-товарной фермы колхоза «III Интернационал» и биография ее заведывающей Марии Андреевны Петровой стоят того, чтобы сказать о них несколько слов.

Мария Андреевна — старейшая колхозница Большой Сеи — порядком обрусевшего хакасского улуса. Ее небольшое вдовье хозяйство было одним из тех одиннадцати хозяйств, которые первыми в улусе объединились в тооз «1 мая». Чуть не за полгода до его организации она начала ходить из избы в избу. Уговаривала. А за ней по пятам ходили «контрагитаторы». Сегодня кто-нибудь из Фатьяновых, завтра — из Харламовых, послезавтра — Кокоевы. В противниках недостатка не было. Она — из избы, они — в избу. Бывало так, что бедняк или середняк даже заявление напишет, а потом передумает. Василий Сазанков сколько раз подавал заявления! Вечером подаст, а утром... берет обратно.

К весне 1929 года в тоозе «1 мая» остались три колхозника — сама Мария Андреевна, ее брат Василий Бутонаев и Павел Илюшев. Такой же величины были и остальные два тооза улуса.

Тогда все три тооза слились в один. Так зачиналась сельхозартель «III Интернационал». Зачиналась под свист и улюлюканье Харламовых, Фатьяновых, мельника Мейера, приезжего бийского мещанина Левашева.

Марии Андреевне проходу не было. Большая Сея ася вытянулась в одну улицу. Проулком не обойдешь. А на улицу выйти тошно. Шипят.

— Колхозница!

— Активистка!

Мария Андреевна упорно стояла на своем. С каждым днем увеличивалось число ее сторонников.

И тогда враги переменяли тактику. В 1931 году в правлении колхоза уже сидели Варфоломей Харламов — сын матерого кулака, запасшийся кандидатским билетом, и подозрительный бийский мещанин Левашев. Около них терся мельник Мейер — теперь уже не мельник, а заведывающий колхозной мельницей.

Заседало правление обычно на дому у старика Харламова. Заседали за стаканом водки. Закусывали свежей колхозной говядиной. Пили, пели, шушукались...

Отсюда и тянулись во все концы Большой Сеи нити кулацкого руководства.

Особенно крепко путали эти нити молочно-товарную ферму. Достаточно взять из прошлогоднего отчета правления хотя бы такие цифры: в январе 1932 года ферма насчитывала 288 голов скота, приплода было получено 100 голов и куплено 124, как будто бы к концу года должно было оказаться 512. А оказалось... немногим больше двухсот.

Мария Андреевна пришла на ферму в апреле 1931 года старшей дояркой. К ее приходу из 42 родившихся в этом году телят 40 уже пало. Остальные два лежали безнадежно больными.

Недалеко от улуса было болото, в которое зимой свозили навоз. И вот животновод Четыков распорядился поить телят водой из этого болота.

Мария Андреевна отменила распоряжение. С этого дня между старшей дояркой и живогноводом началась затяжная война, не прекращавшаяся ни на день.

Доярки менялись каждую неделю. На свою работу смотрели, как на временную и скучную повинность. Коровы то и дело оставались невыдоенными, неакуренными. За каждым подойником, за каждым клочком сена нужно было стоять самой Марии Андреевне. Телят она тоже не доверяла никому.

И все-таки скот убывал. Коров резали к николину дню, к петрову, к ильину, к казанской.

Мария Андреевна грозила, бранилась, плакала, но жаловаться не решалась.

Только весной 1933 г. судебный приговор подвел итоги двухгодичному вредительству Харламова, Левашева и всей кулацкой компании.

Во главе правления колхоза встал Алексей Токмашев. Бывший батрак. Хакас. Большевик.

Молчавший до сих пор, пришибленный старым руководством, актив «III Интернационала» нашел со своим председателем общий язык.

15 мая Мария Андреевна была назначена заведывающей МТФ. Через день она уже подобрала себе настоящий штат доярок и телятниц — людей, которые за телятами ухаживали, как за детьми. На Больше-Сейской ферме молодняк так и называли «дитятками», «родненькими», «ненаглядными».

А еще через день Мария Андреевна начала оживленные переговоры с районным зоотехником Мищенко. Тот в это время уже пропагандировал систему производственно-контрольных заданий.

Но система эта как-то не сразу укладывалась в ее голове. Не обошлось без споров.

— Те же литры, как ни считай. Возни, однако, больше будет.

— Да как-раз не те литры! — доказывал Мищенко. — Совсем другие литры получаются. Ты только пойми: каждой доярке ты будешь на месяц вперед рассчитывать, сколько может дать молока каждая ее корова. Не дает, а может дать. Понимаешь? Потом сложишь всех ее коров вместе. Вот тебе и получается месячное производственно-контрольное задание. И доярка должна его выполнить, душа из нее вон! Перевыполнит — прибавь на каждые пять процентов три трудодня. Понимаешь?

Мария Андреевна поняла. Она первая в Хакасии ввела у себя на ферме новую систему. Производственно - контрольные задания охватили всех — и доярок, и телятниц, и пастухов. Ферма перешла на трехкратную дойку, на раннюю пастьбу, поочередное использование пастбищ...

И вот несколько цифр: 15 мая 70 коров фермы дали 211 литров молока. 25 мая эти же 70 коров у тех же самых доярок дали 347 литров, а 5 июня — 440.

То же самое случилось и с молодняком. Раньше телята прибывали в весе на 200-250 граммов ежедневно. А этим летом они давали 500-515. Метисы симменталы давали 750 и 800. Не даром же «III Интернационал» гордится своими симменталами.

Год тому назад Марии Андреевне невероятных трудов стоило добиться чего-нибудь от правления колхоза. Каждое ее выступление на общем собрании сопровождалось репликами с мест:

— А на кой чорт она нам сдалась, твоя ферма?

— Пахать что ли на твоих коровах?

— Все одно никакого толку не видим!

В этом году колхозники увидели толк. Они увидели — что может дать им самим и колхозу молочно-товарная ферма, если во главе ее стоят такие люди, как Мария Андреевна Петрова.

## Ш А Х Т Е Р   А Л Ж И Б А Е В

Начал свою вторую жизнь Афанасий Семенович Алжибаев с того, что вступил в колхоз «Чох-Чос». Случилось это в 1928 году.

Все, что было до этого года, — все это было не настоящее. И оно похоже теперь на тяжелый сон. Бессмысленная, одуряющая работа на других. Окрики. Разговор сквозь зубы...

Но колхоз для Афанасия Семеновича был только началом. Самое настоящее пришло в 1931 году, когда правление колхоза командировало Алжибаева на шесть месяцев на Черногорские копи.

Сначала Афанасий Семенович испугался. Величественная тишина шахты ложилась на его плечи всей тяжестью покинутой земли. Люди в темноте казались чужими и враждебными. И Афанасий Семенович думал, что никогда он не сможет стать таким, как другие, шахтером. Он вспоминал «Чох-Чос», и светлыми погожими утрами его до боли в сердце тянула брошенная степь.

— Там сейчас, должно быть, табуны гонят! Гудит земля...

Но время шло. Афанасий Семенович привыкал. Несколько месяцев он проработал на шахте № 8 откатчиком и бурильщиком. Потом попал на краснознаменную шахту 7-бис, — сначала помощником машиниста врубовой машины, затем машинистом. А когда врубовая машина на шахте работать больше не могла и ее убрали, Алжибаев пошел в забой. И вот

уже больше года он работает забойщиком. В 1932 году он вступил в партию.

Афанасию Семеновичу сейчас даже стыдно вспоминать то время, когда он боялся шахты. Давно уже он сам учит таких же молодых хакассов и казаков, которым еще жуткой кажется глухая подземная тишина. И учит так, что люди от него не хотят уходить. Казак Чанкушев, помощник Алжибаева, наотрез отказался от самостоятельной работы:

— Не хочу работать без Алжибаева! С ним ничего не страшно.

Действительно, не страшно. Как-то случилось, что в седьмом очистном штреке вдруг начала садиться кровля. Стойки предупреждающе трещали. Зашуршала осыпающаяся порода. Но Алжибаев успел смерить глазом опасность. И успел вместе со всей своей группой выбросить отпаленный уголь. А потом еще раз взглянул на кровлю и отправил рабочих на-гора. А сам бросился срывать рельсы и плиту, чтобы не оставить их под завалом.

Вышел Алжибаев из забоя за несколько секунд до того, как кровля с грохотом рухнула вниз. Алжибаева подняли на-гора без сознания. Он был контужен.

У Алжибаева сейчас хорошая квартира. У него своя небольшая техническая библиотека. Он — редактор шахтовой стенной газеты. В октябре 1933 года он купил себе пианино.

Наш старый знакомый Александр Рудольфович, этнограф и романтик, конечно, пожалел бы, но стоит ли нам жалеть о том, что в степь идет вместо древнего неуклюжего чаттхана — добротное советское пианино.

---

## СУДЬБА АННЫ МОГОНАКОВОЙ

---

Это было восемь лет тому назад. Анна Ивановна заболела. Муж посмотрел на больную, покачал головой и пошел к родным.

— Время горячее. Работать надо! А она лежит...

В избу собрались братья. Приковыляла старуха-мать. Посмотрели. Подумали.

— Доктора бы что ли позвать?

В Аскизе тогда была уже больница.

— А что там скажет доктор? Ха! — Борис Иванович — старший брат Анны, когда-то лежал в больнице и считал себя почти специалистом. — Ну, скажет доктор, что нужно лучше есть, больше гулять, не работать...

Большая обежала глазами избенку. Низенькая и темная с покосившейся стеной, с раз'ехавшимися углами, она показалась ей тюрьмой.

— Что же теперь будем делать?

Муж повез больную на Камышту, к старой шаманке Маннай.

Старуха долго и неистово кружилась над Анной Ивановной, причитала, приплясывала, брызгала какой-то водой...

— И что же вы думаете? Ведь помогло! — вспоминает Анна Ивановна уже сейчас в 1933 году. — Болела я, как теперь понимаю, на нервной почве, а в таких случаях самовнушение, говорят, помогает. Я себе и внушила. На таких больных шаманы и строили свой авторитет. Разве мало было в степи разговоров о моем выздоровлении! Каюсь, я тоже прибавила Маннай ложечку славы. Фу, какая я была глупая...

Для того, чтобы заболеть на нервной почве, у Анны Ивановны Могонаковой восемь лет тому назад оснований было вполне достаточно.

Началось с того, что односельчане стали ее выдвигать. Для нее самой неожиданно. Выбрали в сельсовет.

— И ничего-то я тогда не понимала! Что такое советская власть — с грехом пополам уяснила. А больше ничего. Мало ли тогда было таких членов сельсовета, как я. С этих выборов и пошло!

Муж не мог и не хотел примириться с выдвижением Анны Ивановны.

— А ведь из батраков. Вот до чего сильны тогда были родовые пережитки!..

Он напивался вдребезги пьяным. Еле держась на ногах, приходил домой, и тогда начинались бурные сцены. Ребята плакали.

— Дошло до того, что проституток стал домой приводить. Напьется и бьет себя по подошве: вот ку-

да я у тебя попал. Начальством хочешь быть, в сельсовет лезешь.

Ввязались братья.

Это случилось несколько позже, когда Анна Ивановна, потихоньку от мужа и родных, вступила в партию.

Как-то на общем собрании секретарь партячейки объявил:

— Повестка дня исчерпана. Собрание считаю закрытым. Коммунистов прошу остаться.

Братья вышли и остановились у крыльца дожидаться сестру. Был ветреный вечер. Стоять на улице холодно. А стоять пришлось долго. С полчаса маячили две фигуры под тополями, пока, наконец, не поняли, что сестра не придет.

И на другой же день на улице подвыпившие братья, родные и двоюродные, встретили Анну Ивановну резким допросом:

— Коммунисткой стала? Мужу жизнь испортила и на всю нашу семью тень бросаешь? Смотри, не поздоровится! Как возьмем вожжи, да поучим тебя по старому...

Особенно рьяно защищал семейные традиции, как и полагалось, старший брат — Борис Иванович.

Кончилась семейная драма Анны Ивановны тем, что райком партии перебросил ее на работу в другое село. Взяла она с собой только детей.

Работала после этого Анна Ивановна и сельоргом, и райженоргом. Работала инструктором-массовиком по матмладу. В сентябре 1929 года поехала в Коммунистический университет трудящихся Востока.

Уже студенткой Анна Ивановна заглянула в Аскыз. Братья пришли с ней посоветоваться насчет колхоза.

Между прочим, недели за две до разговора с Анной Ивановной я в Аскызе совершенно случайно останавливался на квартире у Бориса Ивановича. Вечером мы с ним долго разговаривали. Он показался мне толковым и работающим колхозником.

Университет Анна Ивановна окончила в 1932 году.

И вот она сидит за большим письменным столом в своем кабинете заместителя заведывающего агитмассовым отделом обкома партии и перебирает пап-

ки. На ней хорошо сшитый костюм. И он к ней идет. Говорит она привычно и легко.

Кто узнает теперь в этой Анне Ивановне, коммунистке, ответственной партийной работнице, больную, задержанную женщину, над которой кружилась со своим нелепым бубном старая Маннай!

---

## Н О Ч Ь   Н А   А Б А К А Н Е

---

Случилось так, что лошадей не ждали, — 370 диких монгольских кобылиц и жеребят из Танну-Тувинской республики.

Они прошли около 500 километров, из них 140 — горными хребтами. Шли и степью, и тайгой, в грязи и в снегу, переправлялись через бурные таежные реки.

И вот сейчас они стояли на правом берегу Абакана уже целые сутки у плашкоута. Их прозевали.

Очередь у плашкоута вытянулась такая, что никаких надежд на скорую отправку не оставалось.

В это время в Доме советов подходило к концу заседание бюро обкома. Двенадцатый час ночи. И вдруг телефонный звонок.

— Попросят заведывающего конной базой товарища Воробьева.

Через полминуты взволнованный Воробьев подошел к секретарю обкома и что-то сказал ему на ухо. Товарищ Сизых взял трубку телефона.

Через пять минут Воробьев вместе с Николаем Филипповичем Поповым — командиром взвода конной милиции, как одержимые, скакали к плашкоуту.

По реке с тревожащим стеклянным шорохом ползла шуга. Плашкоут с подводами, срываясь, приставал к другому берегу. Где-то там же беспомощно и скорбно ржали и били копытами лошади.

Воробьев с Поповым бросились в лодку и перебрались к ним. Все 370 лошадей сбились в кучу. Жеребята уже покачивались на ногах и валялись на мерзлую землю. Старший табунщик Максим Иванович Бугаев и его помощник Гриша Подольский тоже пошатывались от усталости и нервного напряжения. Максима Ивановича потом прозвали лошадиным агитатором. Он

так приучил за дорогу лошадей к себе, что стоило ему подойти и заговорить, как они успокаивались. И вот он почти сутки метался по табуну, уговаривая и убеждая.

Помощь подоспела во-время.

Воробьев с Поповым оборвали очередь подвод и весь табун оказался у плашкоута. Через пять минут первая партия лошадей пошла в шугу. Плашкоут скрипел и трещал. Обледенелые канаты еле пробивали густую снежную пелену. Дикие лошади тревожно бились у перил.

И вдруг один жеребенок бросился в воду. Его мать осталась на берегу и он поплыл к ней. Но шугой и течением его сразу же сбило в сторону, и он неуклюже завертелся в ледяной воде. Минут пятнадцать Бугаев с Подольским догоняли жеребенка в лодке, пока, наконец, не подхватили его веревкой и не выгнали на берег. Плашкоут был уже там. Попов сбросил с себя доху, жеребенка закутали в нее с головой и на тележке Воробьева отправили в Абакан на конную базу.

А плашкоут, тяжело скрипя и дергаясь всеми своими досками, снова отправился на ту сторону за лошадьми. Попов переправлялся уже в одной тужурке.

И опять дрожали и бились лошади у перил. И опять одна из них оказалась в воде.

С парома бросили в темноту аркан. Но поймать лошадь, еле заметную в свинцовой массе воды и снега, немислимо. И она плыла около плашкоута, хрипя и фыркая. Но сил все-таки нехватило, и когда до берега оставалось еще пять-шесть метров, кобылица на несколько секунд ушла под шугу. Второй раз, третий... Бросились к лодке. Но лодку сорвало, и она давно уже плыла где-то впереди.

И тогда лоцман плашкоута стал свидетелем самого героического подвига, который ему пришлось видеть на Абакане за всю его лоцманскую жизнь. Командир взвода конной милиции Николай Филиппович Попов вскочил на перила и со всего размаху бросился прямо в шугу...

Немного погодя он вместе со спасенной лошастью показался на берегу.

Закончилась переправа только перед рассветом. Воробьев обошел табун раз и другой. Пересчитал лошадей. Все налицо. Он уже собирался идти к тележке, как вдруг рассмотрел знакомую фигуру. Это — командир взвода конной милиции. Командир отвернулся от Воробьева и только видно было, как вздрагивали его плечи. То ли он плакал от пережитого волнения, то ли просто вздрагивал от ночного холода...

Воробьев промолчал.





ГЛАВА ЗАМЕНЯЮЩАЯ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ







## БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ

Когда Мультатули, писатель без славы и чиновник без должности, скромный бунтарь каучуковых плантаций и дерзкий приказчик голландских торгашей, захотел написать книгу о своей жизни, он нашел, что вообще человеческая жизнь, даже самая серенькая и незаметная, в конце концов, интереснее любого романа, как бы занимательно он не был написан...

О Мультатули я вспомнил, слушая биографию Георгия Николаевича Кучендаева — начинающего кахаского писателя.

---

Лет двадцать, двадцать пять тому назад Георгия Николаевича Кучендаева, собственно говоря, не было. Был Егорка Чибиджеков.

Чибиджек — имя его отца. Бедняков всегда называли по отцу. Это богатый мог хвастаться своей фамилией и носить ее, как он привык носить свой перык — баранью шапку, ни перед кем ее не сдергивая и даже не поворачиваясь в стороны: богатому любопытство несвойственно. Фамилию бая, как и его стада, знала вся степь. Фамилию бедняка забывал даже он сам. Он терял ее, как терял свое прошлое, как терял последнего своего барана, — покорно и привычно.

Мало радости выжала рука судьбы из молодости будущего писателя. Не жалко и терять такую молодость. И когда он, подобно Мультипули, вздумал уложить в свою первую книгу свою молодость, он тоже нашел, что жизнь интереснее книги. И он не стал показывать всю пеструю ленту лет, он просто взял несколько отдельных, запомнившихся кадров.

«Майорнын-Оскенэ» называется его книга: «Рост Майора». Это — книга о себе. Майор — хакасское имя Георгия Николаевича Кучендаева. Будем так называть его и мы.

---

В старой юрте пахло копотью, конским потом и мясом. Пахло тошно и раздражающе. В хазане пузырилась розоватая пена. Это мать варила хвосты. Тем летом в Уйбатском улусе особенно часто кололи коней и в степи оставались брошенные хвосты. Их потом подбирали женщины из старых, подгнивших юрт.

Но почему так долго кипит хазан!

Впрочем, закон сохранения энергии действует и в батрацкой юрте: чем дальше разваривались хвосты, тем быстрее глотала обед Чибиджекова семья. В две-три минуты живот Майора наливался бурым варевом, как новый бараний мех прокисшим молоком. И Майор тяжело валился головой на рваное отцовское одеяло.

---

Ах, хороша юрта у Григория Петровича Черкова! Богатая юрта! Серебром окованные седла, кованые сундуки, покрытые расшитыми коврами, медные кувшины, медные тазы...

И когда на мужской половине чинно рассаживались по войлоку гости, преля в старинных расшитых шубах, Майор любил притуливаться к косяку. На низком столе — баранина, сырки, патхэ — вкусное мягкое тесто в масле. В широкие деревянные, обсосанные чашки, не скупясь, налит хозяйкой кисловатый айран.

Майор и ртом, и носом вдыхал жирный воздух байской юрты. Ждал. Может быть, хозяйка сунет лепешку, а может быть, подвыпивший гость бросит к двери полуобглоданную кость. Тогда Майор легко прыгал за юрту, за плетни, в степь — подальше от завистливых мальчишек и голодных собак.

В степи ветер ласково трепал чумазое лицо. Цвел ирис.

---

На шестую зиму своей жизни будущий писатель оказался нянькой. Мать погладила шершавой рукой шершавую майорову голову и сказала:

— Хорошо начинаешь, сынок. Хорошо устроился. У первого по всему Уйбату человека.

Все это так, но уж очень оттягивала руки маленькая, толстая Опрас.

А летом Майор вместе с матерью сгребал у Григория Петровича Черкова сено. На Григория Петровича работал отец. На Григория Петровича работала мать. На Григория Петровича должен был работать и сын. Что мог возразить Майор!

Зато сколько было радости, когда хозяин подарил ему за работу новую фуражку! Настоящую, с настоящим козырьком. Замечательная была фуражка. Люди говорили, что Григорий Петрович заплатил за нее в Минусинске целый двугривенный.

---

Раннее утро. До того раннее, что спал еще Чибиджек, умевший выспаться, покачиваясь в седле, и отдохнуть, выкуривая трубку. Майор тихонько натянул на ноги старенькие маймахи и так же тихо вытолкнулся в дверь. Отдышался он только на школьном крыльце, не решаясь открыть гяжелую дверь и бессильный вернуться домой.

Однако, учитель не выгнал.

А вечером дома состоялся небольшой чийдых — совещание. Дядя полагал, что если парнишке пошел восьмой год, то пора бы ему пасти овец. Мать охала, перебирая складки выцветшего платья:

— У маленького ни шубы, ни сапог. До самой пены проберет степной хиус.

А отец сказал:

— Чирир! Ладно! Пусть мальчишка поучиться зиме.

---

Ровно через год, осенью, Майор плакал. Жалко было школу, жалко было мать, жалко было чернохвостого щенка, которого он подобрал недавно на задворках. Вместе спали, вместе ели...

Но ведь не даром Ован Инкижеков вчера весь вечер угощал отца айраном и бараниной. Не поспешил на этот раз старый. Знал, что дешевый чабан стоит хорошего ужина.

И Чибиджек уступил.

Майору сказали, что за зиму он заработает маленькую иманку. А главное — будет сыт. Сыт. Высшего предела счастья в Чибиджековой семье не знали.

---

Суровы горы Узунджуля. Никогда не зеленеют их дальние тасхылы, за чью спину каждый вечер прячется на отдых солнце. словно козьи белые папахи, надвинуты снега на их морщинистые лбы, и только кое-где рыжей оторочкой разошлись по горам опадающие лиственницы.

А ближе к степи, где ветер начисто соскабливает с косогоров снег, бродит с овцами Майор. Он подобрал под опояску полы длинной шубы и тяжело переваливается каменистыми тропами.

Холод или страх щекочет спину? словно застывает кровь и острой льдинкой колет сердце...

— Волки!

Майор закрыл глаза и крикнул. И, видимо, так страшен и пронзителен был детский крик, что волки один за другим скатились в лог.

За кого испугался Майор — за себя, за овец, за маленькую иманку, которую могли не дать зазевавше-

муся чабану? — этого Георгий Николаевич Кучендаев не знает до сих пор.

---

Наконец, Майор возвращался домой. Пестрым ковром вливалась в Узунджуль весна. В небо выплывали сизые орлы. Звенела степь, звенело сердце...

А у самой родной юрты на Майора налетел поджарый чернохвостый пес.

— Мойнах! Приятель Мойнах!

Но Мойнах кружился вокруг Майора, все гуще сгоняя на нос морщины, задыхаясь от бешеной злости. Если бы не мать, встреча кончилась бы плохо. Приятель не узнал.

Вот и юрта!

Но отец на работе. Мать пошла поискать муки. Сестренка тарачила испуганные глаза. За дверью все еще рычал Мойнах—вероломный друг. И как тяжелый турпан с камышей, снялась с сердца весенняя радость.

Есть ли где-нибудь в степи жалость и правда?

---

Скоро казанская—договорный срок. Но Чибиджек не радовался. Чибиджек молчал. Умней хозяина не будешь. А Григорий Петрович умел считать. Целый год ждал расчета (год стоил двадцать пять рублей) и вдруг Чибиджеку к празднику, — пусть видит казанская божья мать, — ничего не причитается. Причитается хозяину, а не ему.

Долго думал Чибиджек, выщипывая жидкую бороденку. О хозяине думал, о себе думал, о жизни думал. А ночью мать подняла всех пятерых своих ребят, закутала в тряпье и уложила чурками в рыдван на сено вперемежку с кадками, горшками, хазаном. В юрте остались только пряди копоты да развороченный очих — домашний очаг, которому впервые в своей жизни изменил сегодня Чибиджек.

Лошади тронули шагом, чтобы не встревожить разговорчивым копытом черковских псов. Лишь когда совсем опрокинулся в сумерки сонный Уйбат, они перешли на рысь. Все дальше и дальше, за Кутэнь-Булак — подтаежный улус, на Вершину-Биджу.

Над рыдваном кружился снег.

---

Можно было подумать, что Арга Доможакова нарочно поджидала Майора в Биджу, до того скоро попал он в пастухи.

Арга, в переводе на русский, значит — спина, или матица, или перекладина у ворот. И то, и другое, и третье одинаково прилипало Арге. За ее крепкой, широкой спиной свободно разместилось несколько сот овец, пять или шесть десятков коней и восемьдесят коров. Их-то и пришлось пасти Майору.

С утра его подсаживали в седло. И до вечера. Как соскочишь с седла в степи, если некому посадить, если не окажется под ногой пенька или кочки? И Майору седло стало казаться той страшной колодкой, к которой приковывали каторжан и о которой ему рассказал когда-то дед.

---

Вершину-Биджу сменило старое русское село Бородино. Чибиджек привыкал изменять домашнему очагу. Потом Майор года полтора пробатрачил в Потехиной. Потом опять попал в Бородино.

Чибиджек тем временем вырыл в чужом огороде свою землянку. А Майор все пас и пас. То овец, то коров.

Над страной пронесся ураган революции. В Сибирь пришел и ушел Колчак. Промаячили степью банды Соловьева, Кулакова, Олиферова...

Но хозяйский скот поднимал такую густую черную пыль, что за ней Майор революцию рассматривал не сразу. Позаботились об этом и хозяева.

Но ладонью солнца не закроешь. Даже широкой кулацкой ладонью. И то, что должно было случиться, случилось. Не важно — обо что переломилась дорога жизни. Для Майора, например, о кавалерийский устав... Летом 1922 года через Бородино прошел случайный эскадрон. И какой-то красноармеец обронил устав.

Майор его поднял. Только и всего.

---

И одну ночь, и другую, и третью просидел Майор над уставом. Он даже не доискивался смысла. Его просто заворожили ровные борозды, ровная музыка

слов, — пусть даже непонятных: каррэ, фуражировка, авангард, арриергард...

Но на четвертую ночь до устава добрался и хозяин. Книга полетела в печь.

— Лучше работал бы, чем читать. Не на ту дорогу поворачиваешься, Егор. Попомни мое слово. Худого не желаю.

Книги не стало. И Майор, может быть, впервые в своей жизни, по-настоящему задумался.

— Почему может читать сам хозяин, Алексей Марьясов? Почему может читать Григорий Логинов? Почему могут читать их дети? И почему нельзя читать ему, Майору? Почему они не боятся книги для себя и боятся книги для Майора? Почему, наконец, они могут делать все, что им хочется и днем, и ночью, а он должен и днем, и ночью только работать?

Почему? Почему Майор потеет больше их, а живет как тощая овчарка? Почему сорок лет вертит колесо своей судьбы Чибиджек, а вывертел только землянку на чужом огороде?

---

Майор сидел у стола на широкой крашеной скамейке и ковырял подметку. Из комнаты вышел и сел на табуретку сам Марьясов.

— Егор! А не с'ездить ли в поле... Все одно не спишь. А завтра, поди, не управимся.

Майор молчал.

— Слышь?

— Не поеду!

— Это, то-есть, что за слова такие: не поеду?

— Такие слова! Где есть советский закон, чтобы день и ночь работать? Где? Покажи!

Марьясов встал с табуретки. Майор поднялся со скамьи. Колесом выкатилась вперед хозяйская грудь. К самому переносью сбежали колючие хозяйские брови.

Но навстречу им вековой ненавистью вспыхнули раскосые глаза Майора.

Хозяин молча попятился, нащупал пяткой порог и захлопнул за собой дверь.

Через год в Бородино с веселым гомоном вкатились черноморские шахтеры-комсомольцы. Подмигнули бородинским девкам, кислогато усмехнулись сивым бородачам и принялись искать.

Нашли Майора. А, может быть, Майор нашел их. Не встретиться они, конечно, не могли и пока в этот день проходило свой путь над степью солнце, Майор не отставал от приезжих.

✓ Вечером в школе собрались комсомольцы-шефы и четыре бородинских батрака.

Собрание было объявлено организационным.

— Каким? Мне чего-то не выговорить.

— Ничего, привыкнешь! Слушайте, ребята...

Из школы расходились поздно. С далекого Енисея уже тянул прохладный ветерок. Над головами ярким ирисом расцветали первые крупные звезды.

С этого вечера в Бородино начала работать своя комсомольская ячейка и ее секретарь — Георгий Кучендаев, он же Майор, он же Егорка Чибиджеков.

---

На первом собрании секретарь чувствовал себя неважно. Почти как в Узунджуле. Бояться, правда, было некого. Но... что делать? Было много молодой и шумной радости, было много молодого задора. А дальше что?

Тогда секретарь решил:

— Будем пока читать.

И сам же начал срывающимся голосом за словом слово разбирать подаренную шефами брошюру: учение Ленина о партии.

Кое-что поняли, а кое-что и нет.

— Надо, товарищи, с сельсоветом увязаться.

Майор произнес новое слово не очень уверенно. Но мысль показалась дельной.

— Там помогут!

— Да, это тебе не овец пасти. Это потруднее будет.

— Главное, с чего начать?

---

Ответ подсказала сама жизнь. Случилось так, что одного из четверых прогнал хозяин. Прогнал, как

прогонял и всех других. Вышвырнул на стол пятерку, выбросил на улицу вещи.

Майор заволновался:

— Вот оно где начало! Идем!

Председатель сельсовета долго не хотел ничего понять:

— Чудак, да ведь он рассчитался?

— Рассчитался. А как? Где выходное пособие? Законы знаешь?

Робкий администратор почесывал затылок. Не слишком ли круто заворачивают эти ребятишки? Однако, делать нечего. Он в Бородино как-никак — советская власть.

На другой день кулацкие сынки втащили Майора в темную избу и долго били.

Борьба началась.

---

Самого Майора Марьясов уволил уже по всем правилам. По закону.

— Мне комсомолов не надо!

И Майор оказался в отцовской землянке.

Чибиджек долго смотрел на сына и качал поседевшей головой:

— Не дело, Майор, затеял! Отца позоришь, мать срамишь.

И сам Чибиджек, и его отец, и отец его отца — все они тянули свою жизнь на чужих задворках, жизнь, привычную, как степная дорога, по которой с проходом катился тяжелый рыдван байского благополучия. И странно казалось Чибиджеку, что может найтись на свете такая рука, которая остановит древний рыдван и поставит его колесами под откос. Кто же пойдет по новой дороге? Уж не он ли, Чибиджек, умевший выспаться, покачиваясь в седле, и отдохнуть, выкуривая трубку? Уж не Майор ли, сопливый мальчишка, который хочет быть умнее отца?

— Оба пойдем, отец!

— Замолчи! — прикрикнул Чибиджек. Он начал понимать, что дорога сына свернула влево от дороги отца.

— Думай, отец! Придет время, поймешь и сам.

Однажды ячейка получила письмо. Читали, читали, да так ничего и не прочитали.

— Должно, не нам.

Через неделю товарищ из райполитпросвета доказал, что письмо было именно им и что в письме ячейке предлагалось выделить одного из комсомольцев на полуторамесячные курсы политпросветработников в

✓ Красноярск.

Ячейка думала недолго.

— Майора!

Товарищ из политпросвета пододвинул бумагу:

— Пиши заявление!

За полчаса Майор вспотел больше, чем за день на хозяйской пашне. Никогда еще не приходилось ему так много писать.

---

В землянку шагнула девочка.

— Майор дома?

— Дома!

— В сельсовет зовут!

В сельсовете Майора ждал секретарь райкома тов. Толкунов.

— Ну, давай, собирайся!

Майор остолбенел. Как собираться? Куда собираться?

— На курсы!

Будущий писатель не помнил, как он опустился на скамью, как он пил с Толкуновым чай, как под'ехал к крыльцу тарантас.

— Язви его! Тарантас. В самом деле тарантас!

Собирать ему было нечего. Сели и тронулись.

Ветхая таратайка подпрыгивала на ходу. Сзади лисьим пушистым хвостом расстилалась пыль. Он видел, как у землянки заплакала мать и что-то закричала сестренка.

С заваленки Марьясова свистнули:

— Егорка Чибиджеков едет. Сту-у-дент!

---

В Усть-Абаканске Майору дали газеты:

— Прочитай!

Майор прочел одну заметку. Другую.

— А ну-ка, скажи — что такое Чехо-Словакия?

— Должно быть, народ такой есть. Государство.

Кончился экзамен тем, что Майору выдали анкету.

— Кучендаев, Георгий Николаевич...—вывел Майор.

Так кончился Егорка Чибиджеков. Так кончился Майор.

---

В Красноярск отправились на лодке — Москвитин Константин, Окунева Клава, Овинцев Петр, Тарасов Миша, Колтораков Карп — старый большевик и Георгий Кучендаев. Ночевали на островах. Пели. Колтораков вспоминал партизанские дни.

Уходили назад величавые скалы. Таяли в синем тумане синие сосны. Тихо плескалась по борту вода.

Майор и верил, и не верил. Потихоньку от других щипал себе колено.

Как-то утром обогнал их пароход. Будущий писатель не выдержал и присел. А пароход шел громадный, спокойный и нестрашный. Над колесами выпячивались буквы «Спартак».

Колтораков объяснил, что «Спартак» — это бывший «Сокол», а потом долго рассказывал о том, кто такой был Спартак.

До чего ж все хорошо! И «Спартак» — бывший «Сокол», и Енисей, и ребята! И жизнь!

---

Сотни верст прошел и проехал степью Майор. В голой степи находил дорогу, как мать — веретено под лавкой. А в Красноярске заплутался. Отошел два шага от партшколы, потерял друзей из виду и опешил. Оглянулся на громады домов, на скользкий булыжник мостовой и повернул к себе.

Через час ребята спрашивали:

— Ты чего скоро? Нашел столовую? Поел?

— А то как же! Давно уж...

Покосились ребята, но сказать ничего не сказали.

А ночью голодный Майор видел знакомую юрту. Серебром окованные седла, кованые сундуки, покрытые расшитыми коврами, медные кувшины, медные

тазы... Гости в дорогих старинных шубах... И у косяка — Майор.

И вдруг Майор стал расти, расти, расти. Тесной стала юрта. Майор шагнул к столу.

• Онемели гости. Хозяин Григорий Петрович протянул ему чашку с айраном, а чашка пляшет в руке. Задрожала со страху хозяйская рука. В родную степь пришел, наконец, ее настоящий хозяин.

---

После случая с обедом Майор от своих уже не отставал. Они в столовую, и он в столовую. Они на базар, и он на базар.

Старался не отстать и на курсах. Ребята разбросались по разным отделениям, и Майор, если был свободен, ходил на лекции из класса в класс.

Когда-то давным давно потерял он дорогу в степи и до поздней ночи проходил по старым курганам. И только, когда поднялся над степью белый пар, он попал на берег Уйбата. Измученный, усталый, бросился к воде и пил, пил, пил. Ему казалось, что нехватит старого Уйбата, что он будет пить всю ночь и весь следующий день.

Так вот и сейчас — подошел он к долгожданным берегам и пьет, пьет, пьет. И кажется, что нехватит всех книг на свете, чтобы утолить палящую жажду.

---

✓ Село Аскыз. Георгий Николаевич Кучендаев назначен сюда заведывающим избой-читальней.

Каждое утро можно было видеть с улицы, как за окном читальни маячила у стола невысокая плотная фигура Майора. Часами он мог не разгибать спины. Разбирал газеты, журналы, книги. Он старался прочитать все, что было в его библиотеке.

Уж если восьмилетний Егорка Чибиджеков умел справляться с громадной отарой инкижековских овец, неужели двадцатидвухлетний Георгий Кучендаев не справится с двумя-тремя сотнями книжек?

А справляться было все-таки трудно.

Тогда Майор шел к секретарю комсомольской ячейки:

— Поставь мой доклад на бюро!

Секретарь смотрел на Майора понимающим взглядом и коротко бросал направо:

— Миша, запиши в повестку доклад избача!

— Да мы ж его не намечали.

— Не видишь? Парню помочь нужно.

Через день-два Майор, комкая в руках вдоль и поперек исписанный листок бумажки, рассказывал комсомольцам о своей работе.

---

Далеко по всей долине Абакана бежала худая слава Казановского улуса. Воровской улус. Нехороший улус. Ночью мимо не проезжай!

Очень неохотно заезжали районные и окружные уполномоченные в Казановский улус.

И вот Георгий Николаевич Кучендаев сидит там в только-что открытой избе-читальне и ведет собрание.

Собрание он назвал организационным.

— Каким? Нам даже и не выговорить.

— Ничего, ребята, привыкнете!..

Кучендаев читал будущим комсомольцам брошюру: учение Ленина о партии. Прочел страницы две, улыбнулся и рассказал, как в первый раз он читал эту брошюру три года тому назад...

Рассказал и о кулацких сынах...

И вдруг у окна метнулась черная тень. Кто-то потушил лампу. Бросились к отпотевшему стеклу. На белом снегу было ясно видно, как уходил в плетни сгорбившийся человек с тяжелой берданкой в руках.

Выбежали на улицу. И вправо, и влево сутулились черные избы. Прятались за них приземистые холодные юрты. Серебряными ресницами мерцали звезды. Тишина. И только далеко-далеко стеклянным звоном хрустели чьи-то частые шаги.

Только-что избранный секретарь ячейки повернулся к Майору:

— Повезло тебе, товарищ Кучендаев!

---

В один из бархатных степных вечеров Георгий Николаевич Кучендаев заперся в избе-читальне. Небывалый случай. Никогда еще аскызская молодежь не видела такого. А сегодня... Что случилось сегодня?

Майор сидел за столом и, не отрывая глаз, рассматривал маленькую книжку в скромном переплете.

Это был его партбилет.

Сердце Майора билось, как крылья орленка, впервые взмывшего под облака. Какими словами сказать об этой радости? Какую песню спеть, чтобы услышала ее вся родная, привольная, звенящая степь?

Степь... Не та, старая, истоптанная байскими стадами степь... Сегодняшняя степь, — советская, колхозная. И вот против воли, против желания повернула память колесо майоровой жизни на несколько оборотов назад. Старый Уйбат, старый Чибиджек, теперь уже колхозник. Тошный запах копоти, конского пота и мяса. Косяк байской юрты. Тяжелая поступь байских стар. Волчий вой в узунджульских логох. Белый пушистый снег над фыдваном, в котором его отец в первый раз попытался потихоньку, крадучись, уйти от проклятой судьбы.

— Неужели все это было?

И Майор распахнул окно. По селу загоралось электричество. Тарахтела мельница. В клубе пели. И радостно шлепнул ладонью о подоконник молодой избач, с сегодняшнего дня член Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

— Живем!

---

В Москве, в Коммунистическом университете трудящихся Востока Майор заплутался еще один раз. На этот раз в карте.

Преподавательница географии повернулась к приемочной комиссии:

— Товарищ Кучендаев плохо разбирается в полушариях.

Но в комиссии был старый большевик, сам истоптавший не мало троп в горемычных полях батрацкой судьбы, тов. Эстергази:

— Не может быть, чтобы бывший чабан не нашел, в конце концов, дороги на карте. Найдет!

Кучендаева приняли условно.

— А что это значит?

— Это значит, что если догонишь за полгода остальных, то останешься.

— Чирир! Ладно! Посмотрим!

В университете товарищ Кучендаев и написал свою первую книгу. Сейчас он собирает материал для второй. Кроме того, сейчас он работает в хакасском областном отделении ОГИЗа.

Это как-раз то, что нужно. Молодая хакасская литература давно ждет таких писателей, таких руководителей. Она получила прекрасное поэтическое наследство. Но оно крепко пропитано дурманящим ядом феодального прошлого и сладковатым дымом шаманских костров. Отжать этот яд, выветрить этот дым и вместе с тем, сохранить сверкающие краски степной поэзии для новой, советской литературы Хакассии лучше всего сумеют именно такие люди, как бывший батрак, а теперь писатель Майор, сын бывшего батрака, а теперь колхозника Чибиджека.

Вот почему, слушая биографию начинающего писателя, я вспомнил Мультиатули. Что бы сказал сейчас он, писатель без славы и чиновник без должности, прочитав небольшую книгу товарища Кучендаева? Не в тысячу ли раз показалась бы ему эта жизнь и эта книга интереснее и прекраснее его собственной книги и его собственной жизни, жестоко опаленной жаром тропического солнца и колониального золота!



## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	5
<b>ГЛАВА, ЗАМЕНЯЮЩАЯ ВСТУПЛЕНИЕ</b>	
СТУДЕНТ ВЫНОСИТ ПРИГОВОР . . .	11
<b>ТЕНИ ПРОШЛОГО</b>	
НАРОД, ПОТЕРЯВШИЙ ИМЯ	
Историческая справка . . . . .	17
Справка географическая . . . . .	22
СТЕПЬ И РОМАНТИКА	
На берегу Уйбата . . . . .	25
Человек, исправивший отклонение . .	29
Зауряд-прапорщик мировой скорби . .	31
В охотничьем улусе . . . . .	34
СТЕПЬ БЕЗ РОМАНТИКИ	
Люди одной кости . . . . .	39
Сын Олько Чудогашева . . . . .	43
Нежданный ревнигель православия . .	45
Улус без советской власти . . . . .	47
Философ своего класса . . . . .	50
Эпиграф к этой главе . . . . .	56
НА СЕВЕРЕ ХАКАССИИ	
Памятные годы . . . . .	57
Смерть тов. Сюсюю . . . . .	59
Первый бой . . . . .	60
Халтар Коңчегашев . . . . .	63
<b>ВПЕРВЫЕ В СТЕПИ</b>	
ОСЕДЛАЯ ПШЕНИЦА	
Село с прошлым . . . . .	65
Золотой Узюм . . . . .	70
Книга в юрте . . . . .	73
ОКОЛО ЗОЛОТА	
Дорогой приискателей . . . . .	75
Улус без определенных занятий . . . .	77
Последний из могижан . . . . .	81
Кульгуртрегер Воробьев и компания . .	82
Таежные хищники . . . . .	84
Осколок раскольничьей Руси . . . . .	89
С позволения сказать, курорт . . . . .	92
Впиз по Абакану . . . . .	94

## У ИСТОКОВ РУДЫ

Завод, который хочет жить . . . . .	97
Колхозники без колхоза . . . . .	101
Артель тов. Тодрашева . . . . .	104

## КЛАСС ПРОТИВ КЛАССА

### РОЖДЕНИЕ „МАЛ-ХАДАРИ“

В степи дул ветер . . . . .	109
В улусах—разговор . . . . .	113
Класс против класса . . . . .	114
Лекция в степи . . . . .	116
Конец старых улусов . . . . .	120

### СНОВА НА ЗОЛОТЕ

Три дигаты по поводу . . . . .	123
Главный стан . . . . .	124
Заметки из записной книжки . . . . .	128
Бригадир хакасского вабоя . . . . .	132

### АБАКАН-ГОРОД

Перед картой будущего . . . . .	135
Что такое искусство . . . . .	139
Проходя по комнатам . . . . .	141

## ХАКАССИЯ СЕГОДНЯ

### ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Вагонное знакомство . . . . .	147
Исторический документ . . . . .	149

### КОЛХОЗНЫЕ БУДНИ

День в колхозе имени Буденного . . . . .	155
Кое-что о методах . . . . .	158
„Хакастар“, что значит „хакасы“ . . . . .	162
Старик дает оценку . . . . .	165
Бывшее проклятое дерево . . . . .	167
Люди „Ударника-хакасса“ . . . . .	169
Петр Максимович в колхозе . . . . .	175

### СТЕПНАЯ МОСКВА

Усадьба с громким именем . . . . .	177
Испорченная вечеринка . . . . .	181
Немного о прошлом . . . . .	184
Центральная фигура совхоза . . . . .	187
Одиннадцатилетний герой . . . . .	191

### ПОДМОСКОВНЫЙ БАССЕЙН

Кутень-Булук . . . . .	193
Как начиналась шахта . . . . .	194
Выписка из протокола . . . . .	196

**КРАСНОЗНАМЕННАЯ 7-БИС**

Музейка нашего типа . . . . .	197
Шахта семь-бис . . . . .	199
Разговор в кабинете главинжа . . . . .	204
Шахтер на поверхности . . . . .	206
О чем думал Петро Картин . . . . .	208

**ГЛАВА О ЛЮДЯХ**

Мария Андреевна Петрова . . . . .	209
Шахтер Алжибаев . . . . .	213
Судьба Анны Могонаковой . . . . .	214
Ночь на Абакане . . . . .	217

**ГЛАВА, ЗАМЕНЯЮЩАЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ . . . . .	221
------------------------------	-----

ЗАП. ЦИФ. КРАСНОЗ.  
НАУЧНАЯ БИБЛИОТ.  
10194-194465

Отв. ред.—Ив. А. Гольдберг  
Техн. ред. и выпуск.— А. Л. Темиряев  
Набор под наблюд.—И. П. Горшенина  
Корректурa под наблюд.—З. А. Тарасовой  
Печать „ „ —М. С. Васильева  
Перепл. раб. „ „ —Н. Ф. Коновалова  
Печать красочных иллюстраций—П. П. Бойко

№ 10

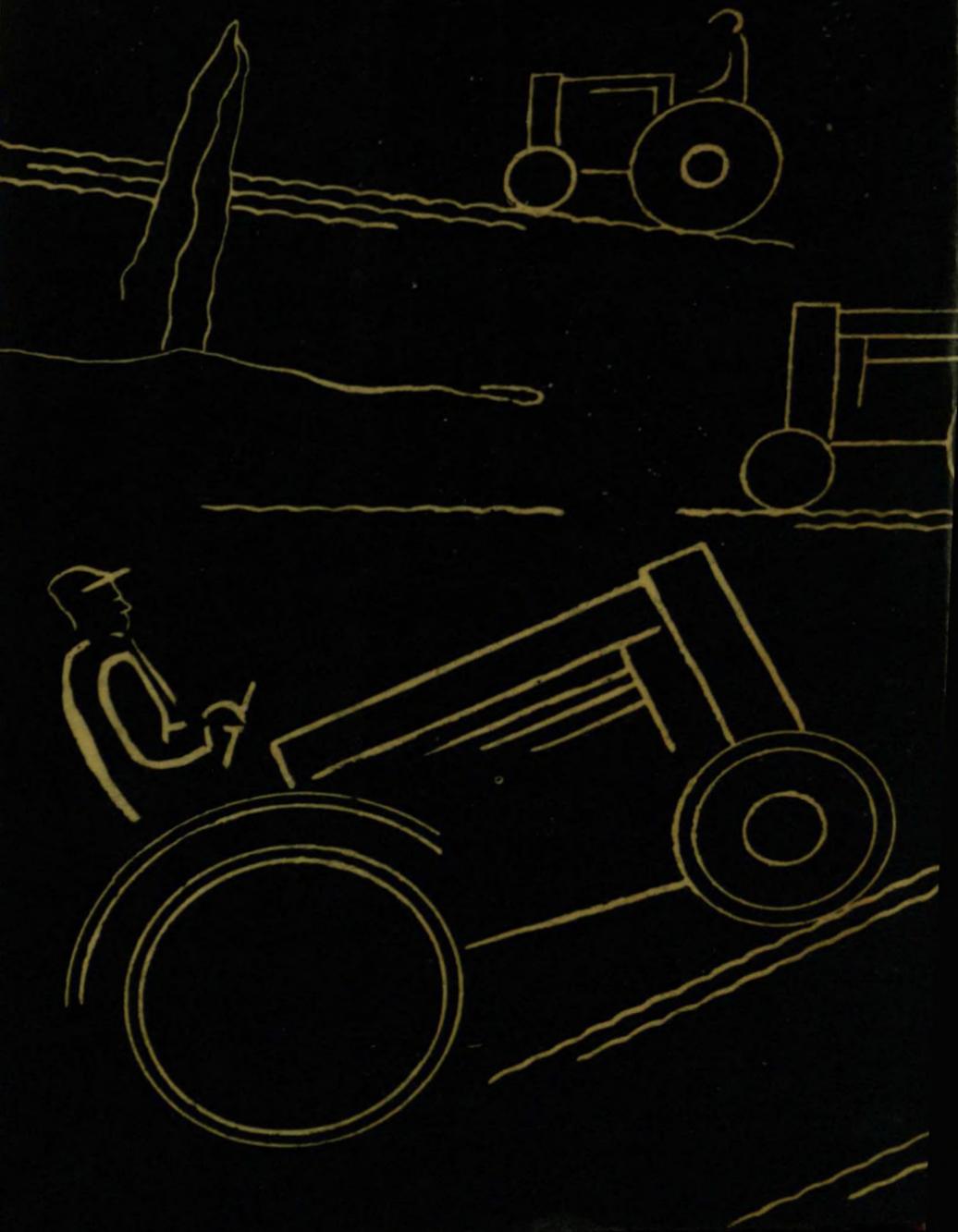
Сдано в производство 27|XI-34 г.  
Подписано к печати 6|I-35 г. Фор-  
мат 82×110 <sup>1</sup>/<sub>32</sub> Тираж 8000. Бум. л. 3,75  
Печ. л. 15. Уч.-авт. л. 12,2. Эп. в бум.  
л. 149760 Инд. X-16 Изд. № 1664. Ти-  
пография № 1 ЭСКИК, Зак. № 3477.  
Уполкрайлита № 6508 от 31|XII-34 г.

Цена книги 6/перепл. 3 р. 60 к. Перепл.—1 р.



**ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ**  
**в книге "РОЖДЕНИЕ МАЛ-ХАДАРИ"**

Стр.	Строка	Напечатано	Следует
68	6 снизу	Васькой	Ванькой
154	1 снизу	под'е—	под'ема «(Сталин).
187	13 сверху	повторить	попортить К зак. 3477



подвергалась процессам плавивной дислокации, происшедшимъ подъ вліяніемъ силы, дѣйствовавшей въ NE—SW-омъ или ENE—WSW-омъ направленіи и собравшей толщину въ складки, расположенныя въ NW или NNW направлеиіяхъ.

Первое—NNW простирание встрѣчается на юго-восточномъ склонѣ Станового хребта и къ югу отъ массива Уконникъ, въ системѣ верховьевъ М. и Б. Амазаровъ.

Въ сѣверо-западной же части района, въ верховьяхъ рѣкъ М. Урюма и Иенды, на юго-восточномъ склонѣ Урюмскаго массива, толща гнейсовъ имѣетъ NW простирание; такое же простирание имѣетъ и небольшой островокъ гнейса въ средней части теченія р. Итгей.

28/4/1668.

